

Артур Конан Дойл

Отравленный пояс



Перевод с английского
Надежды Вольпин

ФТМ



Отравленный пояс

Артур Конан Дойл

Аннотация
Артур Конан Дойл. Отравленный пояс
Глава I. Линии помутнели
Глава II. Прилив смерти
Глава III. Захлестнуло
Глава IV. Хроника смерти
Глава V. Мертвый мир
Глава VI. Великое пробуждение

Аннотация

Повесть «Отравленный пояс» является продолжением знаменитого романа «Затерянный мир». Профессор Челленджер объявляет своим друзьям о новом открытии: Земле грозит неминуемая катастрофа! Скоро всё живое на планете погубит отравленный эфир. Нужно что-то предпринять для спасения миллиардов жизней, и как можно скорее…

Артур Конан Дойл
Отравленный пояс

Глава I
Линии помутнели

Да, я обязан теперь же, пока события еще свежи в моей памяти, изложить их с тою точностью деталей, которую время может затемнить. Но, приступая к исполнению своего настоятельного долга, я в изумлении останавливаюсь перед тем чудесным фактом, что именно нам четверым, героям «Затерянного мира» — профессору Челленджеру, профессору Саммерли, лорду Джону Рокстону и мне, — довелось пережить это удивительное приключение.

Несколько лет тому назад, когда я печатал в «Дейли-газетт» отчет о нашем эпохальном путешествии в Южную Америку, я никак не думал, что мне когда-нибудь выпадет на долю рассказать по личному опыту о еще более странном событии, единственном в летописях человечества, о событии, которое будет стоять в памяти истории как некая великая вершина среди скромных соседних холмов. Само по себе событие будет всегда казаться чудом, но обстоятельства, которые свели вместе нас четверых ко времени этого

необычного происшествия, складывались самым естественным образом. Постараюсь рассказать о них как можно короче и ясней, хоть я и понимаю, что в данном случае читатель был бы рад каждой лишней подробности, потому что любопытство людское поистине ненасытно — было, есть и будет.

В пятницу, двадцать седьмого августа — навеки памятная дата мировой истории, — я зашел в редакцию своей газеты и попросил мистера Мак-Ардла, который и по сей день ведет у нас отдел «Последних новостей», дать мне трехдневный отпуск. Добрый старый шотландец покачал головой, поскреб чахлую рыжую бородку и облек наконец свой отказ в такие слова:

— В эти дни, мистер Мелоун, я, напротив, особенно на вас рассчитываю. Видите ли, тут у нас подвернулось такое дельце, что только вы один и можете обделать его как надо.

— Прошу меня извинить, — сказал я, стараясь не выдать разочарования. — Раз я нужен, то, конечно, вопрос исчерпан. Но мне надо съездить по одному очень важному личному делу. Так что если можно меня освободить…

— Боюсь, никак нельзя.

Было очень обидно, но пришлось сделать ве-

селое лицо. В конце концов пенять мне было не на кого, кроме как на себя самого, — уж мне ли не знать, что журналист не вправе располагать собой!

— Значит, из мыслей вон! — сказал я со всей веселостью, какую успел напустить на себя при таком решительном отказе. — Что же вы надумали мне поручить?

— Я хочу послать вас в Ротерфилд взять интервью у этого дьявола во образе человеческом.

— Вы не о профессоре ли Челленджере? — воскликнул я.

— О нем, а то о ком же? На той неделе к нему явился Алек Симпсон из «Курьера», так он схватил беднягу одной рукой за шиворот, другой за штанину и волочил его таким манером целую милю по большой дороге. Можете почитать об этом в полицейском протоколе. Наши ребята скорее сунутся брать интервью у сбежавшего из клетки крокодила. Но на вас я смело могу рассчитывать: вы же с ним старые друзья.

Я вздохнул с облегчением.

— Отлично, — сказал я. — Все разрешилось само собой. Ведь я для того и просил у вас отпуск, чтобы съездить в Ротерфилд к профессору Челленджеру. Сегодня третья годовщина нашего

главного приключения там, в горах, вот он и пригласил к себе всех участников отпраздновать с ним этот день.

— Великолепно! — воскликнул Мак-Ардл, потирая руки, и его глаза просияли за стеклами очков. — Значит, вам нетрудно будет выведать, что он думает на самом деле. Заяви это не он, а кто другой, я сказал бы, что это бред сумасшедшего, но профессор уже однажды показал себя, так что — кто знает? — может быть, он все-таки прав.

— Что же надо у него выведать? — спросил я. — Чем он занимался последнее время?

— А вы не читали сегодня в «Таймсе» его письмо под названием «Предвидения науки»?

— Нет.

Мак-Ардл нырнул под стол и поднял с пола газету.

— Прочтите вслух, — сказал он, указывая пальцем столбец. — Я охотно послушаю лишний раз, а то я не совсем уверен, что правильно понял.

Вот что я прочел редактору отдела «Последних новостей» нашей «Дейли-газетт».

ПРЕДВИДЕНИЯ НАУКИ

– «Сэр! С любопытством, не свободным

от примеси некоторых менее лестных чувств, прочел я появившуюся недавно на столбцах вашей газеты самодовольную и совершенно бессмысленную статью Джеймса Уилсона Мак-Фэйла по поводу помутнения фраунгоферовых линий в спектрах как планет, так и неподвижных звезд. Автор статьи отмахивается от этого обстоятельства как от чего-то незначительного. Но более широкому уму оно должно представиться явлением чрезвычайно важным, возможно, несущим гибель всем и каждому человеку на нашей планете. Вряд ли я могу надеяться, что если прибегну к языку науки, меня хоть сколько-нибудь поймут те безмозглые люди, которые черпают свои представления со столбцов газет. Поэтому я попытаюсь снизойти к их ограниченному кругозору и обрисовать положение посредством простой аналогии, которая не выходила бы за пределы понимания ваших читателей».

— Не человек, а чудо — живое чудо! — сказал Мак-Ардл и задумчиво покачал головой. — Он, ка-

жется, способен взбесить голубенка, перессорить квакеров на молитвенном собрании! Не удивительно, что Лондон к нему нетерпим. А жаль, мистер Мелоун, такой великий ум! Послушаем, однако, его аналогию.

– «Вообразим, – читал я дальше, – что маленькая связка пробок, подхваченная ленивым течением, совершает плавание по Атлантическому океану. Пробки день за днем тихо плывут в одних и тех же условиях окружающей среды. Нам нетрудно представить себе, что эти пробки, будь они наделены способностью мышления, считали бы эти условия надежными и неизменными. Но мы-то, обладая более широкими познаниями, понимаем, что с пробками может случиться много такого, что их весьма удивило бы. Они могут натолкнуться на корабль или на сонного кита, могут запутаться в водорослях. А нет, так их плавание кончится, вероятно, тем, что их выбросит прибоем на скалистый берег Лабрадора. Но что они знают обо всем этом, пока мирно изо дня в день плывут

по океану, который они полагают безграничным и однородным?

Ваши читатели, может быть, сообразят, что под Атлантикой в моем иносказании разумеется тот могучий океан эфира, по которому мы плывем, а связка пробок изображает маленькую, безвестную планетную систему, к которой мы принадлежим. Третьеразрядное солнце с горсткой увязавшихся за ним ничтожных спутников, мы несемся в тех же повседневных условиях к неведомому концу, к жалкой катастрофе, которая настигнет нас у последних пределов пространства, где нас сметет в какую-нибудь эфирную Ниагару или выкинет на какой-нибудь немыслимый Лабрадор. Я здесь не вижу места для плоского и невежественного оптимизма вашего корреспондента мистера Джеймса Уилсона Мак-Фэйла и, напротив, вижу достаточно оснований с самым напряженным и заинтересованным вниманием следить за всяким показателем перемены в нашем космическом окружении, от которой, возможно, зависит и наша конечная судьба».

— Ого! Из него вышел бы знаменитый проповедник! — сказал Мак-Ардл. — Гремит, как орган. Посмотрим-ка дальше, что там его смущает.

– «Общее помутнение и сдвиги фраунгоферовых линий спектра указывают, по моему мнению, на космическую перемену широкого охвата и очень тонкого и необычного свойства. Свет планеты является лишь отраженным светом солнца. Однако в данном случае спектры и планет и звезд – все претерпели одинаковое изменение. Можно ли допустить, что произошла перемена в самих планетах и звездах? Для меня такая мысль неприемлема. Какое общее изменение могло произойти одновременно во всех небесных телах? Допустим, перемена произошла в нашей земной атмосфере. Это возможно, но до крайности невероятно, поскольку мы не наблюдаем вокруг себя никаких признаков чего-либо подобного, да и химический анализ также ничего не обнаруживает. Есть ли третья возможность? Да, есть: перемена в проводящей среде, в том бесконечно

тонком эфире, что простирается от звезды к звезде и пронизывает всю вселенную. В глубинах этого океана нас несет тихое течение. Разве не может течение увлечь нас в новые пояса эфира, обладающие свойствами, каких мы до сих пор себе не представляли? Где-то произошла перемена. О том свидетельствуют нарушения в спектрах всех небесных тел. Перемена может оказаться доброй. Может оказаться дурной. Может оказаться и нейтральной. Мы не знаем. Наивные наблюдатели думают, что происходит нечто, чем спокойно можно пренебречь; но кто, подобно мне, наделен более глубоким прозрением истинного мыслителя, тот понимает, что вселенная таит непостижимые возможности и что среди людей мудрейший тот, кто всегда готов к неожиданному. Чтобы не ходить далеко за примером: кто, спрошу я, посмел бы утверждать, что вспышка загадочной эпидемии среди туземцев Суматры, отмеченная сегодня в утреннем выпуске вашей газеты, не стоит ни в какой связи с некими космическими переменами,

к влиянию которых жители Суматры оказались более восприимчивы, нежели народы Европы с их более сложной культурой? Я не склонен переоценивать свою идею. Настаивать на таком объяснении было бы сейчас столь же бессмысленно, как и отвергать его, но только самый узколобый дурак в своей непрошибаемой тупости не поймет, что оно лежит в пределах научного предвидения.

Преданный вам Джордж Эдуард Челленджер. Ротерфилд, „Терновник“».

— Превосходное, очень обнадеживающее письмо! — сказал Мак-Ардл с видом глубокой задумчивости и принялся вправлять сигарету в длинную стеклянную трубку, заменявшую ему мундштук. — Ваше мнение, мистер Мелоун?

Пришлось признаться в своем позорном невежестве: предмет спора мне совершенно незнаком; что такое, например, фраунгоферовы линии? Мак-Ардл, сам лишь недавно приступивший к изучению вопроса под руководством нашего доморощенного редакционного физика, достал из ящика две разноцветные спектральные таблицы, как нельзя больше похожие на кокарды

какого-нибудь новоиспеченного и тщеславного крикетного клуба. Он разъяснил мне, что на спектрах видны черные полоски, рассекающие яркий ряд тонов, постепенно переходящих от красного на одном конце — через все оттенки оранжевого, желтого, зеленого, голубого и синего — в фиолетовый на другом.

— Эти темные полоски называются фраунгоферовыми линиями, — сказал Мак-Ардл. — Цветное — это самый свет. Свет — любой — если его преломить через призму, дает одни и те же цвета. Они нам ничего не говорят. В счет идут только черные линии, потому что они меняются в зависимости от того, что является источником света. За последнюю неделю эти линии из четких стали мутными, и астрономы завели спор, давая каждый свое объяснение. Вот фотоснимок помутневших линий для нашего завтрашнего выпуска. Публика пока не проявляла к ним особенного интереса, но, я думаю, письмо Челленджера в «Таймсе» должно ее всполошить.

— А при чем тут Суматра?

— Конечно, какая связь между помутневшей линией в спектре и больным туземцем на Суматре? Однако этот молодчик уже однажды доказал нам, что он не любит бросать слова на ветер.

Там свирепствует какая-то странная болезнь, это вполне достоверно; а сегодня из Сингапура сообщают, что на берегах Зондского пролива выбыли из строя маяки, вследствие чего два парохода сели на мель. Во всяком случае, хорошо бы вам порасспросить Челленджера. Если добьетесь от него чего-нибудь определенного, дайте нам подвальчик к понедельнику.

Выходя из редакторского кабинета, я обдумывал свое новое задание, когда внизу в приемной громко прозвучало мое имя. Почтальон принес телеграмму, пересланную в редакцию из моей квартиры в Стритеме. Телеграмма была от того самого человека, о котором только что шла у нас речь, и гласила следующее:

«Стритем, Хилл-стрит, 17. Мелоуну. Привезите кислород. Челленджер».

«Привезите кислород!» Профессор, насколько я помнил, обладал слоновым чувством юмора, проявлявшимся порой в несуразных дурачествах. Может быть, эта телеграмма — одна из тех тяжеловесных шуток профессора, которые ввергали его самого в припадок буйного смеха, когда глаза исчезают и лицо превращается в сплошной разинутый рот и трясущуюся бороду; причем

его нисколько не смущало, что никто вокруг не смеется. Я снова и снова перебирал слова телеграммы, но не находил в них ничего, хотя бы отдаленно похожего на шутку. Нет, они звучали как четкое распоряжение, хотя и очень странное. Челленджер был для меня тем самым человеком, чьим прямым приказом я никак не захотел бы пренебречь. Может быть, он подготовлял какой-нибудь химический опыт, может быть... Но не мое это дело рассуждать о том, зачем профессору понадобился кислород. Он требует — я должен это достать. До отхода поезда с вокзала «Виктория» у меня оставалось около часа времени. Я взял такси и, разыскав в телефонной книжке адрес, отправился на Оксфорд-стрит, в «Бюро поставки кислорода».

Когда я остановился на тротуаре у входа в Бюро, из подъезда вышли два молодых человека. Они тащили металлический баллон и не без труда погрузили его на ожидавший тут же автомобиль. За ними семенил пожилой господин, который поругивал их скрипучим, язвительным голосом и давал свои указания. Он обернулся ко мне. Нельзя было не узнать это постное лицо и козлиную бородку. Передо мной стоял мой старый товарищ по путешествию, вечный спорщик,

профессор Саммерли.

— Как! — воскликнул он. — Вы скажете, что и вы получили дурацкий заказ на кислород?

Я показал телеграмму.

— Ну и ну! Я получил такую же и, как видите, наперекор здравому смыслу исполняю поручение. Наш милый друг, как всегда, ведет себя самым недопустимым образом! Не мог же человеку так безотлагательно потребоваться кислород, чтобы надо было отказаться от общепринятых способов покупки и отнимать время у деловых людей, занятых не менее, чем он. Почему он не заказал прямо в конторе?

Я робко высказал предположение, что профессор, вероятно, нуждается в кислороде немедленно.

— Или вообразил, что нуждается, а это не совсем одно и то же! Но вам теперь ни к чему покупать баллон, раз я везу достаточный запас.

— Однако профессор по каким-то причинам желает, по-видимому, чтобы я тоже привез кислород. Спокойней будет исполнить его просьбу в точности.

Итак, невзирая на воркотню и попреки Саммерли, я купил еще один баллон, который погрузили в автомобиль рядом с первым, так как Саммер-

ли предложил подвезти меня на вокзал в своей машине.

Я отошел, чтоб отпустить такси, и водитель, почтя себя обиженным, долго со мной пререкался из-за оплаты. Когда я вернулся к Саммерли, профессор вел яростную перепалку с грузчиками, тащившими кислород, причем его белая козлиная бородка дергалась от негодования. Помнится, один из грузчиков обозвал его «безмозглым старым попугаем»; тогда профессорский шофер в бешенстве выскочил из кабины, чтобы вступиться за честь своего хозяина, и нам едва удалось избежать уличного скандала.

Эти мелочи покажутся, пожалуй, слишком обыденными, чтобы стоило на них останавливаться, и в то время они так и прошли как пустяковые инциденты. Только теперь, оглядываясь на прошлое, я понимаю их связь со всем, о чем я должен рассказать.

Был ли шофер новичком, как мне показалось, или его разволновала ссора, но только вез он нас на вокзал из рук вон плохо. Мы дважды едва не столкнулись со встречными такими же взбесившимися авто, и, помню, я сказал профессору, что искусство водителей в Лондоне заметно снизилось против обычной нормы.

Один раз мы врезались в большую толпу, следившую за дракой на углу Пэл-Мэл. Поднялся крик, возбужденные зрелищем люди злобно орали на неумелого шофера, а какой-то господин вскочил к нам на подножку и замахнулся на нас тростью. Я спихнул его, но мы были куда как рады, когда избавились от преследователей и благополучно выбрались оттуда. Следуя одна за другой, эти мелкие неприятности взвинтили мне нервы, и по раздерганным движениям моего спутника я видел, что и его терпение истощено.

Но к нам сразу вернулось доброе расположение духа, как только мы увидели маячившую на перроне высокую и худощавую фигуру лорда Джона Рокстона, облаченную все в тот же темно-желтый, добротной шерсти охотничий костюм. Резкое лицо нашего друга с яростными и добродушно-насмешливыми глазами загорелось радостью при нашем появлении. В его рыжих волосах уже пробивалась седина, и резец времени углубил морщины на его лбу, но в остальном он показался мне прежним лордом Джоном, добрым товарищем наших прошлых дней.

— Здравствуйте, герр профессор. Здравствуйте, здравствуйте, мой юный друг! — кричал он, идя нам навстречу.

Увидев, что носильщик везет за нами на тележке два баллона с кислородом, он буйно расхохотался.

— Ага! Вы тоже с багажом! Мой уже в вагоне. Что он затевает, наш чудак?

— Вы читали в «Таймсе» его письмо? — спросил я.

— Какое письмо?

— Чушь и дичь! — прошипел Саммерли.

— Однако, если я хоть что-нибудь смыслю, — заметил я, — заказ на кислород стоит в прямой связи с этим письмом.

— Чушь и дичь! — снова закричал Саммерли с совершенно неоправданной яростью.

Мы все трое вошли в вагон первого класса для курящих, и профессор уже раскурил свою коротенькую обгорелую старую трубку из корня шиповника, которая, казалось, вот-вот опалит кончик его длинного воинственного носа.

— Наш Челленджер — умный человек, — заговорил он с большим напором. — Этого никто не станет отрицать. Надо быть остолопом, чтобы отрицать! Посмотреть только на его шляпу! Она вмещает шестьдесят унций мозга — огромную машину, легкую на ходу, чистую в работе. Покажите мне гараж, и я вам определю размер

машины! Но он прирожденный шарлатан — вы сами слышали, я не раз говорил ему это в лицо, — прирожденный шарлатан, фокусник, который с театральным жестом выскакивает к рампе! Сейчас затишье, так вот наш друг Челленджер обрадовался случаю заставить публику поговорить о нем. Уж не думаете ли вы, что он верит сам в эту чушь об изменениях в эфире и об угрозе роду человеческому? Басня, такого еще в жизни не бывало!

Он нахохлился, точно старый, седой ворон, и каркал, трясясь от сардонического смеха.

Я кипел негодованием, слушая Саммерли. Стыд и срам, что он говорит так о нашем предводителе, о том, кому мы обязаны своей славой, кто дал нам пережить такое, чего не изведал ни один человек на земле! Я раскрыл было рот для резкой отповеди, но лорд Джон меня упредил.

— У вас на него зуб, — сказал он строго. — Вы уже раз сцепились со стариком Челленджером, и он в десять секунд положил вас на обе лопатки. По-моему, профессор Саммерли, вам с ним не тягаться. Мой вам совет: идите-ка вы стороной и оставьте его в покое.

— К тому же, — сказал я, — он был хорошим другом каждому из нас. У него могут быть свои

недостатки, но он прям, как стрела, и уж он бы, я думаю, никогда не позволил себе дурно говорить о своих товарищах за их спиной.

— Прекрасно сказано, мой мальчик! — промолвил лорд Джон Рокстон. Он добродушно улыбнулся и хлопнул Саммерли по плечу. — Ладно, герр профессор, не будем ссориться с утра. Мы слишком много пережили вместе. Но Челленджера вы лучше не задевайте, потому что мой юный друг и я, мы оба питаем к старику некоторую слабость.

Саммерли, однако, не был расположен к примирению. Его лицо скривилось в неодобрительную гримасу, клубы сердитого дыма вырывались из трубки.

— Позвольте вам заявить, лорд Джон Рокстон, — прокаркал его голос, — что ваши суждения в научных вопросах имеют для меня ровно такую же цену, как для вас мое мнение о каком-нибудь охотничьем ружье новейшего образца. У меня, сударь, своя голова на плечах, и позвольте мне думать по-своему. Если однажды я оказался не прав, отсюда еще не следует, что я должен раз навсегда отказаться от критики и соглашаться с каждым словом Челленджера, какую бы околесицу он ни понес. Неужели нам

нужен в науке какой-то папа римский, который будет издавать непогрешимые буллы, чтобы смиренная паства безропотно их принимала! Говорю вам, сударь, с меня довольно моих собственных мозгов, и, если бы я перестал ими пользоваться, я бы чувствовал себя рабом и подхалимом. Если вам угодно верить всяким благоглупостям об эфире и фраунгоферовых линиях в спектре, верьте, пожалуйста, но не требуйте от человека, который старше и опытней вас, чтобы он разделял ваше недомыслие. Простая очевидность: если бы эфир подвергся таким сильным изменениям, как утверждает ваш Челленджер, и если бы это было так вредно для здоровья, разве это не сказалось бы давно на нас самих? — Он разразился шумным, торжествующим смехом, радуясь собственному доводу. — Да, сударь, мы теперь были бы далеки от своей обычной нормы и, вместо того чтобы, сидя в вагоне, спокойно обсуждать научные проблемы, ощущали бы известные симптомы отравления. Где мы видим хоть какие-нибудь признаки грозного космического переворота? Отвечайте, сударь! Отвечайте! Без увиливаний! Ага, вам нечего ответить!

Злоба все сильней накипала во мне. Поведение Саммерли казалось мне обидным и вызываю-

щим.

— Думаю, будь вы лучше осведомлены, вы бы не так уверенно выкладывали свое мнение, — сказал я.

Саммерли вынул трубку изо рта и остановил на мне ледяной взгляд.

— Простите, сударь, что вы хотели сказать этим вашим дерзким замечанием?

— Могу объяснить: когда я уходил из редакции, мне в «Последних новостях» показали телеграмму, которая сообщала, что на Суматре туземцы все поголовно заболели и что по всему Зондскому проливу погасли маяки.

— Но должен же быть предел человеческой глупости! — в бешенстве закричал Саммерли. — Неужто вы не уразумели, что эфир — если даже мы допустим на минуту абсурдную гипотезу Челленджера, — что эфир — это всемирная субстанция, она одна и та же, что здесь у нас, что на другом конце света! Уж не думаете ли вы, что в Англии, например, один эфир, а на Суматре другой? Вы, может быть, воображаете, что в графстве Кент эфир лучшего качества, чем в Суррее, где мы проезжаем сейчас? Легковерию и невежеству рядового человека, чуждого науке, поистине нет границ. Непостижимо! На Суматре эфир так

смертоносен, что все население лежит в лежку, в то время как здесь он, по-видимому, не оказывает на нас ни малейшего действия! Лично я, например, никогда в жизни, могу вас уверить, не чувствовал себя физически более крепким или умственно более уравновешенным.

— Возможно. Я не выдаю себя за ученого, — сказал я, — но я слышал где-то, — что научные истины, бесспорные для одного поколения, следующее, как правило, объявляет ложью. Не нужно, однако, большого ума, чтобы сообразить одну простую вещь: мы слишком мало знаем об эфире, и, может быть, в различных частях света он подвержен каким-либо местным влияниям, так что где-нибудь за океаном он производит действие, которое на нас скажется несколько позже.

— Вашими «возможно» и «может быть» вы ничего не докажете! — злобно закричал Саммерли. — И то бывает, что свинья летает. Да, сударь мой, свинья, может статься, и летает, однако этого еще никто не видел! С вами и спорить не стоит. Челленджер забил вам головы своею чепухой, и теперь вы оба не способны здраво рассуждать. Я могу с тем же успехом выкладывать доводы перед пустым купе.

— Должен сказать, что с тех пор, как я имел

удовольствие, профессор Саммерли, видеться с вами в последний раз, ваши манеры ничуть не исправились, — строго заметил лорд Джон.

— Вы, аристократишки, не привыкли выслушивать правду, — ответил Саммерли с презрительной усмешкой. — Еще бы! Это не так уж приятно, когда кто-нибудь вдруг дает вам понять, что титул не мешает вам оставаться круглым невеждой!

— Честное слово, сэр, — сказал лорд Джон сдержанно и сухо, — будь вы моложе, я не позволил бы вам говорить со мной таким оскорбительным образом.

Саммерли вскинул голову и затряс козлиной бородкой.

— Могу вам сообщить, сударь мой, что, молодой или старый, я никогда в жизни не боялся высказать свое мнение безграмотному индюку. Да, сэр, я вас называю безграмотным индюком, хотя бы вы носили все титулы, какие только могут придумать рабы, а дураки принять.

Глаза лорда Джона загорелись, однако он героическим усилием подавил вспышку гнева и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку дивана; горькая улыбка застыла на его губах. Мне было и страшно и больно. Волной нахлыну-

ли воспоминания о нашем былом товариществе, о счастливых днях необычайных приключений, о наших общих трудах, и страданиях, и победах. И вот чем это кончается: оскорблениями и бранью! Я вдруг расплакался — расплакался взахлеб, не в силах сдержать рыдания. Спутники глядели на меня в удивлении. Я закрыл лицо руками.

— Ничего, — проговорил я. — Но только… только мне так обидно!

— Вы больны, мой мальчик, вот в чем дело, — сказал лорд Джон. — Мне с самого начала показалось, что вам не по себе.

— За эти три года вы, сударь мой, не отстали от ваших дурных привычек, — сказал Саммерли и покачал головой. — От меня тоже не ускользнуло при встрече, что вы ведете себя довольно странно. Напрасно вы перед ним расточаетесь в сочувствии, лорд Джон. Это пьяные слезы, и только. Мальчишка просто надрался! Кстати, лорд Джон, я только что назвал вас индюком, что, пожалуй, было слишком крепко сказано. Однако это слово напомнило мне об одном моем скромном даровании, обыденном, но забавном. Вы знаете меня как сурового мужа науки. Поверите ли вы, что некогда я пользовался среди ребятишек заслуженной славой искусного ими-

татора домашних птиц? Я могу доставить вам приятное развлечение в дороге. Не хотите ли послушать, как я кричу петухом? Это вас, пожалуй, позабавит.

— Нет, сэр, — сказал лорд Джон все еще в сильной обиде. — Меня это ничуть не позабавит.

— Могу изобразить, как квохчет курица, только что снесшая яйцо. Мое исполнение, смею сказать, считалось когда-то незаурядным. Хотите, попробую?

— Нет, сударь, не хочу.

Однако, невзирая на столь решительное возражение, профессор Саммерли отложил свою трубку и до конца поездки развлекал нас — или тщился развлекать, — попеременно изображая голоса всевозможных птиц и животных. Это было до того нелепо, что мои слезы вдруг сменились истерическим хохотом. Я сидел против важного профессора и… и видел его — или, вернее, слышал — то обозлившимся петухом, то щенком, которому наступили на хвост. Лорд Джон передал мне газету, нацарапав карандашом на полях: «Бедняга! Он просто спятил!» Несомненно, профессор проявлял себя большим чудаком, но представление все же показалось мне чрезвычайно остроумным и забавным.

В то же время лорд Джон, наклонившись вперед, рассказывал мне какую-то нескончаемую, крайне бессвязную историю про индийского раджу и буйвола. Профессор Саммерли залился было канарейкой, а лорд Джон добрался в своем рассказе еле-еле до середины, когда поезд подошел к Джервис-Бруку, где нам указано было сойти.

Челленджер встретил нас на станции, чтобы отвезти к себе в Ротерфилд. Он был великолепен. Самый спесивый павлин не мог бы выступать так медлительно и величаво, как наш профессор, когда он торжественно расхаживал по платформе, благосклонно и снисходительно поглядывая на окружающих. С добрых старых времен в нем незаметно было перемены, разве что его характерные черты обозначились еще резче. Его большая голова и широченный лоб с прилипшей к нему прядью черных волос казались еще громадней, чем были. Черная борода рвалась вперед еще более буйным каскадом, а ясные серые глаза с их насмешливым, высокомерным прищуром глядели еще более властно, чем в прежние времена.

Он благодушно пожал мне руку и ободряюще улыбнулся, точно учитель маленькому школь-

нику; потом поздоровался с моими спутниками, помог им управиться с их багажом и усадил нас всех в большую машину, где разместил также и баллоны с кислородом. Повел машину тот самый Остин, бесстрастный и бессловесный, которого я видел в роли лакея при первой своей памятной поездке к профессору. Дорога, извиваясь, шла в гору по красивой сельской местности. Я сидел впереди, рядом с шофером, а трое спутников за моей спиной, казалось мне, говорили все разом. Лорд Джон все еще продирался сквозь дебри своего рассказа про буйвола, насколько я мог судить, прислушиваясь к густому басу Челленджера и нудному голосу Саммерли, сцепившихся, как встарь, в ожесточенном споре о каких-то высоких материях. Вдруг Остин повернул ко мне свое медно-красное лицо, не отводя, однако, взгляда от баранки.

— Мне дают расчет, — сказал он.

— Неужели? — ответил я.

Сегодня все казалось необычным. Люди говорили дикие, неожиданные вещи. Все было, как во сне.

— В сорок седьмой раз, — добавил, подумав, Остин.

— Когда же вы уйдете? — спросил я, не найдя

сказать ничего лучшего.

— Я не уйду, — прозвучало в ответ.

Разговор как будто был исчерпан, но Остин вдруг опять вернулся к нему.

— Если я уйду, кто будет смотреть за ним? — Он кивнул головой на хозяина. — Кто захочет у него служить?

— Кто-нибудь другой, — сказал я неуверенно.

— Другого ему не найти. Никто не проживет и недели. Если я уйду, дом развалится, как часы без главной пружины. Говорю вам это, потому что вы ему друг и должны знать. Я мог бы поймать его на слове, но у меня не хватит духу. Они с хозяйкой останутся, как двое младенцев, подкинутых на чужой порог. Все держится на мне. А он ни с того ни с сего дает мне расчет.

— Почему с ним никто не уживется? — спросил я.

— Никто не будет таким покладистым, как я. Он очень умный человек, мой хозяин, — такой умный, что иной раз у него ум за разум заходит. Я тогда понимаю, что он сошел с катушек, и не обижаюсь зря. Послушайте, что он сделал нынче утром…

— Что?

Остин наклонился ко мне.

— Укусил экономку, — услышал я хриплый шепот.

— У-ку-сил?

— Да, сэр. Укусил в лодыжку. Я видел своими глазами, как она выбежала сломя голову из передней.

— Боже милостивый!

— Это еще что! Знали б вы, что у нас тут творится, сэр! С соседями он со всеми не в ладах. Тут иные говорят, что, как он жил среди чудищ, о которых вы писали, так это для него — для хозяина, значит, — самая подходящая компания. «Дом родной, любезный дом», как поется в песне. Это так соседи говорят. Но я-то прослужил у него десять лет, я к нему привязался, и, заметьте себе, он как-никак великий человек: я почитаю за честь служить у него. Но иногда с ним нужно большое терпение. Вот посмотрите-ка, сэр. Разве это похоже на доброе, старое гостеприимство? Сейчас вы прочтете.

Машина на самом тихом ходу одолевала зигзагами крутой подъем. За поворотом показался прочный глухой забор, и над ним доска с объявлением. Как сказал Остин, прочесть было нетрудно — немногословное, оно само бросалось в глаза:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посетителей, журналистов и нищих просят не беспокоиться!

Дж. Э. Челленджер.

— Да, никакого, так сказать, добросердечия! — покачав головой, сказал Остин и покосился на прискорбный плакат. — Как бы это выглядело на рождественской открытке? Извините, сэр, я сейчас наговорил больше, чем за много долгих лет, но сегодня я просто сам не свой, на душе накипело. Пусть он гонит меня, пусть ругает, пока не отсохнет язык, а я вот не уйду, и все! Я его слуга, он мой хозяин, и так оно останется, надеюсь, до конца наших дней.

Мы миновали белые столбы ворот и покатили по широкой аллее, обсаженной кустами альпийской розы. За поворотом возник низкий кирпичный дом с белыми резными ставнями, уютный и красивый. Миссис Челленджер, маленькая, изящная, приветливая, улыбалась нам с крыльца.

— Ну, моя дорогая, — сказал Челленджер, соскочив с подножки, — вот и наши гости. Для нас это ново, не правда ли, — принимать гостей? Соседи с нами не в большой дружбе. Дать им во-

лю — они, я думаю, подсыпали бы нам крысиного яда в хлеб.

— Это ужасно, ужасно! — воскликнула женщина, смеясь сквозь слезы. — Джордж вечно со всеми ссорится. У нас нет кругом ни одного друга.

— Что позволяет мне сосредоточить все внимание на моей несравненной жене, — подхватил Челленджер, обняв ее за талию толстой, короткой рукой. Представьте себе гориллу и газель, и перед вами встанет эта супружеская чета. — Идем скорей, гости устали с дороги, и завтрак будет сейчас очень кстати. Сара вернулась?

Женщина сокрушенно покачала головой, а профессор громко рассмеялся и величественно погладил бороду.

— Остин, — крикнул он шоферу, — когда поставите машину, пожалуйста, помогите хозяйке накрыть на стол! А сейчас, джентльмены, пройдем ко мне в кабинет, так как я хочу безотлагательно сделать вам кое-какие очень важные сообщения.

Глава II
Прилив смерти

Мы проходили через переднюю, когда раздался телефонный звонок, и мы поневоле подслушали реплики профессора Челленджера в последовавшем диалоге. Я говорю «мы», но на сто ярдов вокруг никто не мог бы не услышать этого громового баса, сотрясавшего весь дом. Ответы профессора запечатлелись в моем мозгу.

— Да, да, конечно, это я… да, разумеется, тот самый Челленджер, знаменитый Челленджер, кто же еще?.. Безусловно, отвечаю за каждое слово, иначе я не написал бы… Нет, не удивлюсь… За это говорят все показания… Не позже, как через сутки… Ничем не могу помочь… Очень неприятно, не спорю, но это, полагаю, коснется и людей поважнее вас. Плачь не плачь — конец один. Нет, никак не могу. Придется вам примириться с судьбой… Довольно, сэр. Чепуха! Меня ждут дела поважнее, чем слушать вашу болтовню.

Он с треском повесил трубку и повел нас наверх, в просторную, светлую комнату, служив-

шую ему кабинетом. На большом рабочем столе красного дерева лежало семь или восемь нераспечатанных телеграмм.

— Право, — сказал он, сгребая их, — я начинаю думать, что мог бы сберечь деньги моим корреспондентам, приняв условный телеграфный адрес. Самым уместным был бы, пожалуй, такой: «Ротерфилд. Ною».

Как всегда при своих непонятных шутках, он упал грудью на стол и разразился буйным хохотом. Руки его так тряслись, что он никак не мог распечатать конверт.

— Ною, ха-ха! Ною! — захлебываясь, кричал он, с багровым, как свекла, лицом, в то время как лорд Джон и я сочувственно улыбались, а Саммерли, усмехнувшись неодобрительно, затряс головой, точно козел, страдающий несварением желудка. Еще не совсем совладав со смехом, Челленджер начал наконец вскрывать телеграммы. Мы трое стояли в нише окна и деловито созерцали великолепный вид.

И действительно, было чем полюбоваться. Дорога, петляя, незаметно вывела нас на довольно высокое место, лежавшее, как мы потом узнали, в семистах футах над уровнем моря. Дом Челленджера стоял с самого краю на склоне холма,

и перед южным его фасадом, там, куда смотрели окна кабинета, тянулся лес вплоть до линии холмов Южного Даунса, мягкими изгибами очертившей горизонт. В ложбине между холмами завеса дыма обозначила местоположение Льюиса. Прямо у наших ног лежала волнистая, поросшая курчавым вереском равнина, пересеченная длинными ярко-зелеными полосами Кроуборовского поля для гольфа, на котором чернели здесь и там фигурки игроков. Чуть южнее, в одном из просветов между перелесками, виднелось полотно железной дороги — магистрали из Лондона в Брайтон. А перед самым домом, у нас под носом, примостился маленький отгороженный дворик, где стоял автомобиль, доставивший нас сюда со станции.

Возглас Челленджера заставил всех обернуться. Он уже прочел все телеграммы и аккуратной стопкой сложил их на столе. Его широкое, грубо высеченное лицо — или та незначительная часть его лица, которую позволяла видеть косматая борода, — все еще пылало краской, он был, очевидно, во власти сильного возбуждения.

— Джентльмены, — начал он громко, как будто на многолюдном митинге, — наше замечательное собрание открывается при необычайных

и, смею сказать, небывалых в истории обстоятельствах. Позвольте спросить, вы не заметили ничего особенного во время поездки из города?

— Все, что я заметил, — с кислой улыбкой сказал Саммерли, — это что наш юный друг за истекшие годы не излечился от своих дурных привычек. Я с прискорбием должен принести серьезную жалобу на его поведение в поезде, и вы могли бы обвинить меня в неискренности, если бы я скрыл от вас, что оно произвело на меня крайне неприятное впечатление.

— Ничего, с кем не бывало, — вмешался лорд Джон. — Молодой человек делал это не со зла. Ему ведь случалось играть в нашей сборной команде, так что если он и позволил себе полчаса описывать футбольный матч, то он имеет на это больше права, чем кто другой.

— Полчаса описывать матч? — закричал я в негодовании. — Ничего подобного! Вот вы действительно убили добрых полчаса на какую-то скучнейшую историю с буйволом. Профессор Саммерли может засвидетельствовать.

— Затрудняюсь рассудить, кто из вас двоих был надоедливей, — сказал Саммерли. — Заявляю вам, Челленджер, что я до конца жизни не желаю больше слушать ни про буйволов, ни про фут-

бол.

— Но я сегодня не сказал ни слова о футболе, — попробовал я возразить.

Лорд Джон пронзительно свистнул, а Саммерли сокрушенно покачал головой.

— И это с самого утра, — проговорил он. — Что может быть плачевней? Я сидел в печальном, задумчивом молчании и…

— В молчании?! — возопил лорд Джон. — Да вы же всю дорогу угощали нас эстрадным концертом, изображая скотный двор. Не человек, а взбесившийся граммофон!

Саммерли выпрямился в горькой обиде.

— Вам угодно шутить, лорд Джон! — Лицо его стало кислым, как уксус.

— Фу, пропасть! Чистое безумие! — закричал лорд Джон. — Каждый из нас как будто знает, что делали другие, но никто не помнит, что делал сам. Давайте восстановим все, как было, с самого начала. Мы сели в вагон первого класса для курящих — не так ли? Это точно. Потом мы стали спорить о письме нашего друга Челленджера в «Таймсе».

— Ага, вы спорили! — прогремел бас нашего хозяина, и глаза его сузились.

— Вы сказали, Саммерли, что письмо не содер-

жит в себе и намека на истину.

— Вот как! — Челленджер выпятил грудь и погладил бороду. — Ни намека на истину? Мне и раньше случалось слышать эти слова! Могу ли я спросить, какими доводами великий, именитый профессор Саммерли пытался раздавить жалкого невежду, дерзнувшего высказаться по вопросу о научном предвидении? Может быть, прежде чем уничтожить злополучного простака, профессор соизволит привести какие-либо доказательства в пользу противоположных взглядов, выдвинутых им самим?

Произнося эту речь, Челленджер со слоновым сарказмом кланялся, дергая плечом, разводил руками.

— Доказательство очень простое, — ответил упрямец Саммерли. — Если окружающий землю эфир, утверждал я, так ядовит, что на иных широтах оказывает губительное влияние, то представляется несообразным, почему же мы трое, сидя в вагоне, не испытываем на себе его действия.

Это объяснение вызвало у Челленджера только шумный взрыв веселья. Он так расхохотался, что в комнате все задрожало и задребезжало.

— Наш почтенный Саммерли обнаруживает — и не в первый раз — полную неосведомленность

о действительном положении вещей, — сказал он наконец, отирая взмокший лоб. — Теперь, джентльмены, я вместо всяких доказательств изложу вам лучше, как сам я вел себя в это утро. Вы отнесетесь снисходительней к отклонению от нормы в вашей собственной умственной деятельности, если узнаете, что даже у меня были минуты, когда я терял равновесие. У нас в доме много лет служит экономка, зовут ее Сара, а ее фамилией я никогда не пытался обременять свою память. С виду она суровая и неприступная женщина, строгого и скромного поведения; бесстрастная по природе, она, насколько нам известно, ни разу не проявила признаков каких-либо душевных движений. Когда я сидел один за первым завтраком — миссис Челленджер обычно пьет утренний кофе у себя в спальне, — мне вдруг пришло на ум, что забавно и поучительно было бы проверить, существует ли предел невозмутимости нашей Сары. Я придумал простой, но убедительный опыт. Опрокинув на скатерть стоявшую посреди стола вазу с цветами, я позвонил, а сам залез под стол. Экономка вошла и, никого не увидев в комнате, решила, что я удалился в кабинет. Как я и ожидал, она подошла и нагнулась над столом, чтобы поставить

вазу на место. Я узрел бумажный чулок и башмак на резинках. Высунув голову, я впился зубами экономке в лодыжку. Успех опыта превзошел все ожидания. Две-три секунды женщина стояла, как в оцепенении, уставив взгляд на мое темя. Потом взвизгнула, вырвалась и опрометью побежала вон из комнаты. Я кинулся за ней, рассчитывая как-то объясниться, но она уже мчалась к воротам, и потом я несколько минут мог наблюдать в полевой бинокль, как она чрезвычайно быстро удалялась в юго-западном направлении. Оцените сами этот забавный случай. Я бросаю семя в ваши мозги и жду, какие всходы оно даст. Уразумели? Он не возбудил у вас никаких мыслей? Ваше мнение, лорд Джон?

Лорд Джон важно покачал головой.

— Вы нарветесь на серьезные неприятности, если не возьмете себя в руки, — сказал он.

— У вас нет никаких замечаний, Саммерли?

— Вам следует немедленно прервать всякую работу и на три месяца съездить в Германию на воды.

— Какая глубокая мысль! — провозгласил Челленджер. — Ну, мой юный друг, может быть, мудрость заговорит устами младшего, когда старшие позорно оплошали.

Он угадал. Я не хочу показаться нескромным, но он угадал. Конечно, теперь все это кажется довольно очевидным читателю, уже знающему, что затем произошло; но тогда, когда все нам было внове, это было далеко не так ясно. Однако меня вдруг осенило и со всею силой убеждения я воскликнул:

— Яд!

И вот, едва я произнес это слово, все пережитое в то утро пронеслось в моей памяти. Сперва рассказ лорда Джона о радже и буйволе, мои истерические слезы, вздорное поведение профессора Саммерли; затем странные происшествия в Лондоне: драка в парке, дикая езда шоферов, ссора у склада, где мы брали кислород. Все вдруг встало на свое место.

— Конечно! — закричал я снова. — Это яд! Мы все отравлены!

— Именно! — подхватил Челленджер, потирая руки. — Мы все отравлены. Наша планета вступила в пояс ядовитого эфира и теперь углубляется в него со скоростью многих миллионов миль в минуту. Наш младший товарищ определил причину всех наших неурядиц одним — единственным словом: «яд».

Мы в изумленном молчании смотрели друг

на друга. Комментарии казались излишними.

— Можно бороться с этими симптомами, — продолжал Челленджер, — противопоставив им усилие сознания. Я, разумеется, не жду, чтобы такая способность была развита у всех вас в той же степени, что у меня, ибо я полагаю, что сила различных наших умственных процессов подчинена известной неизменной пропорции. Но нельзя не оценить ее проявлений у нашего юного друга. После легкой вспышки возбуждения, так напугавшей экономку, я сел и начал обсуждать положение вещей наедине с собой. Я напомнил себе, что никогда раньше мне не хотелось укусить кого-либо из слуг: такое желание было явно патологическим. Я мгновенно постиг истину. Я проверил свой пульс — он на десять ударов превосходил норму: все рефлексы оказались у меня повышены. Тогда я призвал на помощь свое высшее разумное «я» — истинного Джорджа Эдуарда Челленджера, который пребывает невозмутим и непоколебим, невзирая на все молекулярные возмущения. Я призвал его, говорю я вам, наблюдать за дурацкими шутками, какие яд попробует сыграть с моим мозгом. И я увидел, что могу оставаться хозяином положения. Я нашел в себе силу контролировать

сознанием свою нарушенную психику. Это было замечательным проявлением победы духа над материей, ибо победа была одержана над тем особенным видом материи, который наиболее тесно связан с разумом. Я даже смею сказать, что разум оплошал, но личность подчинила его себе. Так, когда моя жена сошла в столовую и мне захотелось спрятаться за дверью и напугать ее при входе диким криком, я оказался способен побороть это побуждение и поздороваться с нею достойно и сдержанно. Неодолимое желание закрякать уткой было равным образом осознано и подавлено. Позже, спустившись во двор заказать машину и увидав нагнувшегося Остина, увлеченного чисткой мотора, я остановил свою уже занесенную руку и воздержался от некоего опыта, который, вероятно, заставил бы шофера последовать по стопам экономки. Наоборот, я потрепал его по плечу и приказал ему вовремя подать машину, чтобы поспеть к вашему поезду. В данную минуту я испытываю сильный соблазн схватить профессора Саммерли за его глупую бороденку и начать изо всех сил раскачивать ему голову. Тем не менее я, как видите, веду себя сдержанно. С вашего позволения, даю вам совет брать с меня пример.

— Я буду осмотрительней с моим буйволом, — сказал лорд Джон.

— А я с моим футболом.

— Может быть, вы правы, Челленджер, — сказал Саммерли, сбавив тон. — Я готов согласиться, что у меня скорее критический, чем созидательный склад ума, и что меня нелегко убедить в какой-либо новой теории, а тем более в столь необычной и фантастической, как ваша. Однако, оглядываясь на события этого утра и вспоминая несуразное поведение моих спутников, я охотно верю, что эти симптомы вызваны у них каким-то ядом возбуждающего свойства.

Челленджер добродушно хлопнул коллегу по плечу.

— Мы делаем успехи, — сказал он, — определенно делаем успехи!

— И, пожалуйста, сэр, — смиренно попросил Саммерли, — объясните, как вам представляются наши ближайшие перспективы?

— С вашего разрешения я скажу на этот счет несколько слов. — Челленджер уселся на письменном столе, покачивая своими короткими, толстыми ножками. — Мы присутствуем при некоем грандиозном и грозном торжестве. По-моему, пришел конец света.

Конец света! Наши взоры невольно обратились к большому окну фонарем, и мы залюбовались летней красотой пейзажа, зарослями вереска по склонам холма, большими загородными виллами, уютными фермами, молодежью, весело игравшей в гольф. Конец света! Кому не доводилось слышать эти слова! Но мысль, что они могут иметь непосредственное, практическое значение, что это будет не когда-то, в туманной дали будущего, а вот теперь, сегодня же, — такая мысль возмущала ум и леденила кровь.

Пораженные, мы молча ждали, что скажет Челленджер дальше. Его спокойствие, его властный вид сообщали такую силу и торжественность его словам, что на минуту забылись и грубость его и чудачества, — он вырос перед нами в нечто величественное, в сверхчеловека. Потом, не знаю, как других, а меня вдруг успокоила мысль о том, как дважды за то время, пока мы находились в комнате, он разразился смехом. Есть же предел, подумал я, свободе духа. Должно быть, кризис не так ужасен или не так близок.

— Представьте себе виноградную гроздь, — заговорил он вновь, — покрытую бесконечно малыми, но вредными бациллами. Садовник проводит ее через дезинфицирующую среду. Может

быть, он хочет очистить свой виноград. Может быть, хочет освободить место для менее вредных бацилл. Он окунает гроздь в яд, и бациллы гибнут. По-моему, наш великий садовник собирается окунуть в яд солнечную систему, и микроб человечества, маленький смертный вибрион, размножившийся на верхнем покрове земной коры, мгновенно пройдет через стерилизацию, и его не станет.

Опять наступило молчание. В тишину ворвался резкий телефонный звонок.

— Один из наших вибрионов запищал о помощи, — сказал Челленджер с угрюмой усмешкой. — Они начинают понимать, что их дальнейшее существование отнюдь не является непреложным законом вселенной.

Он вышел на минуту из комнаты. Помнится, никто из нас не говорил в его отсутствие: слова и рассуждения казались неуместными.

— Звонил санитарный врач Брайтона, — сказал хозяин, вернувшись. — Почему-то на уровне моря симптомы отравления развиваются быстрей. Семьсот футов высоты дают нам некоторое преимущество. Люди, по-видимому, уразумели, что я в данном вопросе высший авторитет. Это, несомненно, следствие моего письма в «Тайм-

се». Когда вы только что приехали, меня вызвал к телефону мэр одного захолустного городка. Вы, верно, слышали, как я с ним разговаривал. Он явно придавал своей жизни преувеличенное значение. Я помог ему произвести переоценку.

Саммерли встал и подошел к окну. Его тонкие, костлявые руки дрожали от волнения.

— Челленджер, — заговорил он, — это слишком серьезная вещь для пустого спора. Не подумайте, я вовсе не собираюсь докучать вам разными сомнениями. Но я спрашиваю: не могла ли тут вкрасться какая-то ошибка — в ваши ли сведения или в ход ваших рассуждений? Солнце сияет в синем небе такое же ясное, как всегда. Вереск кругом, и цветы, и птицы. Люди весело гоняют мяч по зеленому полю, работники жнут пшеницу. А вы говорите, что и они и мы, возможно, стоим на пороге гибели… что этот солнечный день — день казни, так давно ожидаемой человечеством. Насколько нам известно, вы основываете это страшное суждение — на чем? На каких-то ненормальностях в линиях спектра… на слухах с Суматры… на странном возбуждении, которое мы все подметили друг у друга. Последний признак выражен так слабо, что и вы и мы оказались способны при некотором сознательном

усилии держать себя в руках. С нами, Челленджер, вы можете не церемониться. Нам и раньше случалось всем вместе смотреть в лицо смерти. Будьте откровенны и скажите, что с нами происходит и чего, по-вашему, должны мы ждать в будущем?

Это была храбрая, достойная речь, подсказанная тем сильным, стойким духом, который старый зоолог скрывал под своею вспыльчивостью и язвительностью. Лорд Джон встал и пожал ему руку.

— Я смотрю точно так же! — сказал он. — Да, Челленджер, вы должны сказать нам, что нас ждет. Вы сами знаете, мы не из слабонервных. Но когда приедешь в гости к другу на воскресный отдых и с разгона угодишь прямо на страшный суд, как же тут не спросить объяснения! В чем опасность, насколько она близка и чем мы должны ее встретить?

Он стоял в нише окна на свету, высокий и сильный, положив загорелую руку на плечо профессору Саммерли. Я откинулся в глубоком кресле, зажав в зубах погасшую папиросу и отдавшись тому онемению, чуть не трансу, когда все воспринимается с особенной четкостью. Может быть, действие яда вступило в новую фазу, но только

лихорадочное возбуждение миновало, сменившись каким-то крайне томительным и в то же время трезвым состоянием духа. Я был зрителем. Лично меня дело будто не касалось. Но передо мною три сильных человека стойко ждали кризиса, и я, как зачарованный, наблюдал за ними. Перед тем как ответить, Челленджер склонил свой могучий лоб и провел рукой по бороде. Было ясно, что он тщательно взвешивает свои слова.

— Какие были последние новости, когда вы уезжали из Лондона? — спросил он.

— Часам к десяти я зашел в редакцию, — сказал я. — Там только что получили телеграмму из Сингапура с сообщением, что на Суматре все до единого больны и поэтому не были вовремя зажжены маяки.

— С тех пор события пошли довольно быстрым ходом, — сказал Челленджер, придвигая к себе стопку телеграмм. — Я держу тесную связь с властями и прессой, так что известия летят ко мне со всех концов. Меня настойчиво вызывают в Лондон; но я не вижу, чего ради мне ехать. Судя по отчетам, действие яда начинается с психического возбуждения: в Париже происходили сегодня утром бурные уличные беспорядки; в Уэлсе взбунтовались углекопы.

Насколько можно доверять полученным свидетельствам, вслед за стадией возбуждения, принимающей у различных народов и индивидуумов самый различный характер, появляется повышенная ясность мысли (я как будто замечаю соответственные признаки у нашего младшего товарища), которая после довольно длительного времени сменяется оцепенением — комой, и, наконец, кома быстро переходит в смерть. Насколько я знаком с токсикологией, подобное действие, мне думается, оказывают некоторые растительные яды, дурманы…

— Датурин, — подсказал Саммерли.

— Отлично! — воскликнул Челленджер. — Для научной точности следует дать имя нашему токсическому фактору. Назовем его датуроидом. Вам, дорогой Саммерли, выпадает честь — посмертная, увы, но зато нераздельная — дать имя мировому разрушителю, дезинфекционному средству великого садовника. Итак, симптомы отравления датуроидом можно принять такими, как я их обозначил. Мне представляется несомненным, что отравление охватит всю землю, и в мире не останется никакой жизни, так как эфир является всеобъемлющей средой. До сих пор мы наблюдали местами различные

прихотливые отклонения, но разница сводится лишь к нескольким часам. Это как надвигающийся прилив, который заливает сперва одну полосу песка, затем другую, сбегая и набегая неравномерными волнами, пока не затопит наконец все побережье. Действие и распространение датуроида подчинено известным законам, которые было б интересно изучить, если бы нам позволяло время. Насколько я мог проследить (профессор взглянул на телеграммы), в первую голову поддались его действию народы менее цивилизованные. Получены печальные сообщения из Африки, а коренное население Австралии, по-видимому, уже вымерло. Северные народы пока проявляют большую сопротивляемость, чем южные. Вот эта телеграмма, как видите, отправлена из Марселя в девять сорок пять утра. Послушайте дословный перевод:

> «Всю ночь лихорадочное возбуждение по всему Провансу. Волнения виноградарей в Ниме. Социалистическое восстание в Тулоне. С утра среди населения распространилась внезапная эпидемия

с явлениями комы. Peste foudroyante[1]. На улицах множество трупов. Дела парализованы. Всеобщий хаос».

А вот вам следующее сообщение из того же источника, часом позже:

«Мы под угрозой поголовного уничтожения. Соборы и церкви переполнены. Мертвых больше, чем живых. Непостижимо и ужасно. Смерть наступает, по-видимому, безболезненно, но быстро и неотвратимо».

Сходная же телеграмма пришла из Парижа, хотя там события развиваются пока не так быстро. Индию и Персию, очевидно, вымело начисто. В Австрии славянское население погибло, тевтонское едва затронуто. Вообще же говоря, на низинах и побережьях, насколько можно судить при моей ограниченной информации, жители подвергаются действию яда быстрей, чем на высоких и удаленных от моря местах. Даже незначительное возвышение создает заметную разницу, и, возможно, если кто-то пе-

---

[1] Сноски: 1
Молниеносная чума, мор (франц.).

реживет человеческий род, он окажется вновь на вершине какого-нибудь Арарата. Даже наш скромный холм может вскоре стать на время островом среди моря гибели. Прилив, однако, надвигается таким темпом, что через несколько быстрых часов затопит и нас.

Лорд Джон Рокстон потер лоб.

— Одно меня поражает, — сказал он. — Как вы могли сидеть и смеяться с этой кучей телеграмм под рукой? Мне не реже, чем всякому другому, случалось видеть смерть, но всеобщая смерть — это ужасно!

— Что касается смеха, — сказал Челленджер, — то вы не должны забывать, что и я, подобно вам, не был избавлен от возбуждающего отравления мозга эфирным ядом. Но, сказать по правде, ваш ужас перед всеобщей гибелью представляется мне сильно преувеличенным. Если бы вас одного в утлой лодчонке пустили в море плыть по воле волн, вы, естественно, упали бы духом. Одиночество и неизвестность угнетали бы вас. Но если бы вы совершали свое плавание на превосходном пароходе, который взял бы вместе с вами на борт всех ваших родных и друзей, вы бы чувствовали себя иначе: как бы ни была сомнительна и тогда ваша судьба, вас по край-

ней мере ободряло бы сознание, что вас ожидает общее и одновременное для всех испытание, которое до конца оставит вас в том же неразлучном кругу. Одинокая смерть, может быть, страшна, но о всеобщей смерти (да еще, как видно, безболезненной) можно, по-моему, думать без содрогания. Напротив, на мой взгляд, нет ужасней судьбы, чем остаться в живых, когда вся наука, все высокое и гордое на земле навеки отошло.

— Что же вы нам предложите делать теперь? — спросил Саммерли, наперекор своему обычаю не раз во время речи ученого собрата согласно кивавший головой.

— Прежде всего позавтракать, — сказал Челленджер, так как в эту минуту дом огласился гудением гонга. — Наша кухарка так вкусно готовит омлет, что соперничать с ним могут только ее же котлеты. Будем надеяться, что космический переворот не притупил ее талантов. Да и на мое токайское девяносто шестого года мы тоже дружно приналяжем, чтобы хоть часть этих превосходных выдержанных вин не пропала даром. — Большой, громоздкий, он тяжело слез со стола, на котором сидел, возвещая гибель планеты. — Идемте, — добавил он. — Раз нам осталось так мало времени, мы должны тем трез-

вей и разумней насладиться им.

Завтрак в самом деле прошел очень весело. Правда, мы не забывали ужас нашего положения. За каждой мыслью таилось сознание торжественности момента. Лишь тот, убежден я, кто никогда не глядел в глаза смерти, робеет перед ней, когда приходит конец. Для нас, четверых мужчин, в некую славную пору нашей жизни смерть была привычной сотрапезницей. Что касается хозяйки дома, то она, опершись на могучую руку супруга, была готова следовать за ним, куда бы ни лежал его путь. Будущее было во власти рока. Настоящее принадлежало нам. Мы его проводили в добром товарищеском общении и приятном веселье. Мысли наши были, как сказано, необычайно ясны. Даже я временами блистал остроумием. Челленджер был изумителен. Я только теперь во всей полноте оценил присущее ему величие, мощь и размах его ума. Саммерли подстегивал его, как хор в трагедии, язвительной критикой, тогда как лорд Джон и я смеялись, упиваясь состязанием ученых; а миссис Челленджер то и дело дергала мужа за рукав, вовремя заставляя философа умерить свой рык. Жизнь, смерть, судьба, человек и его назначение — таковы были высокие предметы спора в тот памятный час,

тем более для нас насущные, что все время, пока тянулся завтрак, необычайные внезапные взлеты мысли и покалывание в немеющих руках и ногах говорили о приливе смерти, медленно и бесшумно наступавшем на нас. Я заметил раз, как лорд Джон вдруг прикрыл ладонью глаза, как Саммерли вдруг на минуту откинулся на спинку стула. Что-то странно теснило грудь, мешая дыханию. И все же настроение духа оставалось легким и блаженным. Вошел Остин, подал на стол папиросы и хотел удалиться. Но хозяин остановил его:

— Остин!

— Да, сэр?

— Благодарю вас за вашу верную службу.

По деревянному лицу слуги пробежала улыбка.

— Я исполнял свой долг, сэр.

— Сегодня, Остин, я жду светопреставления.

— Слушаю, сэр. В котором часу?

— Не могу сказать, Остин. До наступления вечера.

— Хорошо, сэр.

Молчаливый Остин поклонился и вышел. Челленджер закурил и, придвинув свой стул поближе к жене, взял ее за руку.

— Ты знаешь, дорогая, как обстоит дело. Я объяснил это также и нашим друзьям. Ты не боишься, нет?

— А больно не будет, Джордж?

— Не больней, чем от веселящего газа у зубного врача. Ведь каждый раз, когда ты принимаешь наркоз, ты на опыте переживаешь смерть.

— Но это — приятное ощущение.

— Такова будет, верно, и смерть. Изношенная телесная машина неспособна отмечать свои впечатления, но мы помним духовное наслаждение, доставляемое сном или трансом. Природа, может быть, построила красивую дверь и укрыла ее множеством воздушных сверкающих завес перед входом в новую жизнь для наших изумленных душ. Всю жизнь я исследовал сущее и всегда находил скрытую в глубине мудрость и доброту; и, конечно же, никогда охваченный страхом смерти человек так не нуждается в нежном участии, как если переход от одной жизни к другой представляется ему конечной гибелью. Нет, Сам-мерли, я не принимаю вашего материализма, потому что я нечто слишком великое, чтобы мог я кончиться вместе с моими чисто физическими составными частями: горсточкой солей да тремя ведрами воды. Здесь… вот здесь… (он стукнул

себя по голове своим здоровенным волосатым кулаком) имеется нечто, на что потрачена материя, но что не состоит из нее одной, — нечто, что может само уничтожить смерть, но что никогда не будет уничтожено смертью!

— Смерть, вы говорите… — начал лорд Джон. — Я по-своему христианин, но я понимаю наших предков, когда они велели хоронить себя с топором, луком, колчаном и прочим снаряжением, как будто собирались жить и за гробом той жизнью, какою жили раньше. Право, — добавил он, застенчиво поглядев вокруг, — мне, может быть, и самому было бы спокойней, если бы со мной положили в могилу мой верный «экспресс 450» и мой дробовичок, тот, что покороче, с ложей, обшитой резиной, да две-три обоймы — глупая прихоть, конечно, но уж надо в ней сознаться. Как вы на это посмотрите, герр профессор?

— Раз вы хотите знать мое мнение, — сказал Саммерли, — я вам отвечу: по-моему, это недопустимый возврат к каменному веку или даже к еще большей древности. Я живу в двадцатом веке и хотел бы умереть, как подобает разумному и культурному человеку. Наверно, я не больше боюсь смерти, чем любой из вас, ведь я уже в годах, и, что бы ни случилось, мне все рав-

но не долго осталось жить; но сидеть и ждать без борьбы, точно овцам на бойне, — это противно моей природе. Вы уверены, Челленджер, что мы ничего не можем предпринять?

— Для спасения — ничего, — сказал Челленджер. — Но продлить нашу жизнь на несколько часов и, таким образом, понаблюдать за развитием трагедии, пока она не захватит по-настоящему и нас, это, может быть, окажется в моих силах. Я предпринял некоторые шаги…

— Кислород?

— Да, кислород.

— Но как же может кислород противодействовать отравлению эфиром? Между эфиром и кислородом такая же разница в свойствах, как между газом и толченым кирпичом. Это различные виды материи. Они не могут служить друг для друга препятствием. Бросьте, Челленджер, вы не станете защищать подобный тезис!

— Мой милый Саммерли, наш эфирный яд, несомненно, подвержен влиянию материальных факторов. Мы это видим по его неравномерному действию в разных местностях. Мы не могли ожидать этого a priori[2], но факт налицо. А пото-

---

[2] Сноски: 2
Здесь «заранее» (лат.).

му я склоняюсь к тому мнению, что газ, подобный кислороду — поднимающий жизненную деятельность и повышающий в организме способность сопротивления, — может, по всей вероятности, отсрочить действие того яда, который вы так удачно назвали датуроидом. Возможно, я ошибаюсь, но я твердо верю в правильность моего рассуждения.

— Однако, — сказал лорд Джон, — если мы должны сидеть и сосать трубочку, как младенцы соску, то я предпочту отказаться.

— Этого нам не придется, — ответил Челленджер. — У нас кое-что подготовлено, главным образом стараниями моей жены. А именно: ее будуар сделан по возможности «газоупорным». Его оклеили непроницаемой вощеной бумагой…

— Час от часу не легче! Неужели вы думаете, Челленджер, что можно остановить эфир вощеной бумагой?

— Право, мой уважаемый друг, вы несколько превратно истолковали суть моих слов. Мы хлопотали не о том, чтобы перекрыть доступ эфиру, а лишь о том, чтоб удержать кислород. Я рассчитываю, что в атмосфере, перенасыщенной кислородом, нам удастся сохранять сознание. У меня припасено два баллона с кислородом,

да вы привезли еще три. Это немного, но все же кое-что.

— На сколько нам их хватит?

— Понятия не имею. Мы пустим их в дело только тогда, когда симптомы станут невыносимы. Мы будем выпускать кислород лишь в крайности и очень понемногу. Это нам сбережет, быть может, несколько часов или даже несколько дней, в течение которых мы сможем смотреть на гибнущий мир. Нам пятерым дается отсрочка в общем жребии. На нашу долю выпадает самое необычайное переживание, так как, по всей вероятности, мы будем последним арьергардом армии человечества в ее походе в Неизвестное. А теперь, будьте так любезны, помогите мне управиться с баллонами. Мне кажется, в воздухе уже чувствуется духота.

Глава III
Захлестнуло

Комната, отведенная для нашего беспримерного опыта, представляла собой прелестный дамский будуар, футов пятнадцать на шестнадцать. К будуару примыкала отделенная от него красной бархатной портьерой небольшая комната — туалетная профессора, которая, в свою очередь, вела в просторную спальню. Портьера еще висела, но для наших целей туалетную и будуар следовало рассматривать как одну комнату. Дверь в спальню и оконная рама были тщательно оклеены вощеной бумагой, что делало их практически непроницаемыми. Над второй дверью, отворявшейся прямо на площадку лестницы, имелась фрамуга, которую можно было открыть, дернув за шнур, когда требовалось проветрить помещение. В каждом углу стояло в кадке по большому кусту.

— Перед нами встает сложный и жизненно важный вопрос: как, не теряя зря кислород, освобождаться от излишков углекислоты, — сказал Челленджер и поглядел через плечо на пять

металлических баллонов, поставленных в ряд у стены. — Будь в моем распоряжении немного больше времени, я сосредоточил бы всю силу своего ума и разрешил бы надлежащим образом эту задачу; но времени нет, и мы должны делать, что можем. Некоторую службу сослужат нам эти вот кусты. На моих баллонах кран можно отвернуть, как только мы что-нибудь заметим, так что мы не будем захвачены врасплох. Все же нам лучше не отходить далеко от комнаты, так как кризис может наступить внезапно и сразу в полную силу.

В будуаре было широкое, с низким подоконником окно. Из него открывался тот же вид, которым мы любовались из кабинета. Пока что я не видел за окном ничего подозрительного. От самого дома вниз по холму петляла дорога. Старая колымага, один из тех пережитков доисторической древности, какие встречаются еще в наших захолустьях, медленно плелась в гору, — как видно, со станции. Дальше нянька катила под гору детскую колясочку, ведя за руку второго ребенка. Струйки голубого дыма над домами придавали пейзажу отпечаток уютной домовитости и прочно заведенного порядка. Ни синее небо, ни залитая солнцем земля нигде не омрачались

тенью нависшей катастрофы. Поодаль в полях еще работали жнецы, а по зеленой лужайке четверками и парами гнались за мячом любители гольфа. Такое странное смятение царило в моих мыслях, нервы, натянутые до отказа, так трепетали, что спокойствие этих людей казалось мне непостижимым.

— Эти молодцы, как видно, не ощущают никаких болезненных признаков, — сказал я, кивнув на лужайку.

— Вы когда-нибудь играли в гольф? — спросил лорд Джон.

— Никогда.

— То-то, молодой человек! Иначе вы знали бы, что только трубы страшного суда могут остановить истого игрока, когда он гонит мяч. Стойте! Опять телефон.

За завтраком и после завтрака Челленджера то и дело отзывали резкие и настойчивые звонки. Он передавал нам новости, как получал их сам, — скупыми, короткими фразами. Никогда еще в анналы мировой истории не вносились такие потрясающие записи. Грозная тень наползала с юга приливной волной смерти. Египет, уже пройдя сквозь бурное безумство, лежал в смертном оцепенении. Испания и Португалия

после ярой схватки клерикалов с анархистами погрузились в безмолвие. Телеграф больше не доставлял известий из Южной Америки. В Северной Америки южные штаты — после жестоких побоищ на почве расовой вражды — умиротворились под действием яда. К северу от Мэриленда влияние датуроида сказалось еще не вполне отчетливо, в Канаде оно было еле ощутимо. Бельгия, Голландия, Дания сдавались одна за другой. Со всех сторон отчаянные вести летели в большие научные центры — к мировым светилам химии и медицины — с мольбой о помощи или совете. Астрономов также осаждали запросами. Но сделать нельзя было ничего. То, что творилось, охватило весь мир и лежало за пределами человеческого знания и человеческой власти. Везде была смерть — безболезненная, но неизбежная. Она постигала всех: молодых и старых, сильных и слабых, богатых и нищих, — не оставляя надежды на спасение. Таковы были известия, отрывочные и беспорядочные, которые нам приносил телефон. Большие города уже знали свою судьбу и, насколько мы могли судить, готовились встретить ее покорно и с достоинством. А между тем у нас на глазах трудились жнецы, и веселые любители гольфа беспечно

продолжали игру, точно ягнята, резвящиеся под занесенным ножом. Странно было на них смотреть. Но как, в самом деле, могли они что-то узнать? Катастрофа надвигалась на нас шагом гиганта. Что могло бы встревожить их в утренней газете? А сейчас было только три часа дня. Впрочем, пока мы на них смотрели, распространился, видно, какой-то слух, так как жнецы заспешили с полей. Иные из игроков, не доиграв, помчались в свой клуб. Они неслись во весь дух, точно спасаясь от ливня. Прислуживавшие им мальчики поспешали за ними. Остальные продолжали игру. Нянька повернула и торопливо покатила коляску обратно в гору. Я заметил, как она провела рукою по лбу. Колымага остановилась, и усталая лошадь застыла на месте, свесив голову до колен. А надо всем этим безмятежное летнее небо, огромный купол нерушимой синевы, и только вдали над холмами кудрявились редкие белые облачка. «Если человеческому роду суждено сегодня умереть, — подумал я, — он по крайней мере умрет на великолепном смертном одре». И все же ласковая прелесть природы заставляла острее почувствовать печаль и ужас перед грозным всеобщим уничтожением. Слишком хороша была обитель, откуда нас теперь так внезапно,

так беспощадно изгоняли!

Но, как я уже сказал, опять раздался звонок. Я услышал из прихожей громоподобный голос Челленджера:

— Мелоун! Вас к телефону!

Я бросился к аппарату. Звонил Мак-Ардл из Лондона.

— Вы, мистер Мелоун? — кричал знакомый голос. — Мистер Мелоун, в Лондоне творится что-то невообразимое. Ради всего святого поговорите с Челленджером, может, он что посоветует.

— Он ничего не может посоветовать, сэр, — ответил я. — Он считает кризис всесветным и неизбежным. Мы здесь припасли кислороду, но это только даст нам отсрочку на несколько часов.

— Кислород? — прозвучал дрожащий голос. — Мы не успеем достать. С вашего отъезда у нас в редакции сущий ад. Сейчас половина сотрудников лежит без чувств. Меня самого так и тянет лечь. Я смотрю в окно — Флит-стрит[3] сплошь устлана трупами. Движение остановилось. По последним телеграммам, весь мир…

Голос постепенно слабел и вдруг оборвался.

---

[3] Сноски: 3

Улица, на которой помещается много лондонских издательств.

Еще мгновение — и я услышал в телефон глухой стук, как если бы голова говорившего упала на стол.

— Мистер Мак-Ардл! — закричал я. — Мистер Мак-Ардл!

Ответа не было. Вешая трубку, я знал, что никогда не услышу вновь его голоса.

Едва я отошел на шаг от телефона, настигло и нас. Точно мы были купальщики, стоявшие по плечи в воде, и вдруг накатилась волна и захлестнула нас с головой. Невидимая рука тихо легла мне на горло и мягко начала душить. Я ощущал на груди непомерную тяжесть, что-то туго сжало виски, в ушах громко звенело, и яркие искры заплясали перед глазами. Я кое-как доплелся до перил. В тот же миг, хрипя, как раненый буйвол, мимо меня сумасшедшим видением промчался Челленджер — багровое лицо, глаза лезут из орбит, волосы дыбом. На его широком плече, как видно, без сознания, лежала наперевес его маленькая, хрупкая жена. С громовым грохотом он взбирался по лестнице, спотыкаясь и чуть не валясь, но усилием воли нес свое и ее тело через эту тлетворную атмосферу к гавани временного спасения. Ободренный его примером, я тоже бросился наверх, оступаясь, падая, цеп-

ляясь за прутья перил, пока не рухнул ничком на верхней площадке, теряя сознание. Стальные пальцы лорда Джона ухватили меня за ворот, и мгновение спустя я лежал навзничь на ковре будуара, не в силах ни двигаться, ни говорить. Миссис Челленджер лежала рядом со мной, а Саммерли скрючился в кресле у окна, лбом едва не касаясь колен. Я видел, точно во сне, как Челленджер чудовищным жуком медленно полз по полу, и секундой позже послышалось нежное шипение выпускаемого кислорода. Челленджер с шумом — тремя жадными глотками — втянул в себя живительный газ.

— Действует! — закричал он, ликуя. — Моя логика оправдала себя!

Он снова стоял на ногах, бодрый и сильный. С резиновой трубкой в руке он бросился к жене и направил струю газа ей в лицо. Прошло две-три секунды. Женщина застонала, зашевелилась и села. Челленджер склонился надо мной, и я почувствовал, как сама жизнь теплом разлилась по моим жилам. Разум говорил мне, что это лишь короткая отсрочка, но, как ни пренебрежительно мы говорили о ней, каждый час существования теперь казался неоценимым. Никогда не испытывал я такого трепета чувственной радости,

как сейчас, при этом приливе жизни. Тяжесть отвалилась от груди, распался сдавивший голову обруч, меня охватило отрадное чувство покоя и сладкой истомы. Я лежал, наблюдая, как от того же целебного средства ожил Саммерли и, наконец, в последнюю очередь лорд Джон. Он вскочил на ноги и протянул мне руку, помогая встать, в то время как Челленджер поднимал свою жену и укладывал ее на диван.

— Ах, Джордж, мне так жаль, что ты вернул меня назад, — сказала она и взяла его за руку. — Дверь смерти в самом деле, как ты говорил, скрыта за красивой, сверкающей завесой: едва прошло первое чувство удушья, мне стало несказанно легко. Зачем ты увлек меня обратно?

— Потому что я хотел, чтобы мы вместе совершили переход от жизни к смерти. Мы прожили рука об руку много лет. Было бы грустно разлучиться в последнюю минуту.

На мгновение в его мягком голосе мне почудился новый Челленджер, очень далекий от того буйного, заносчивого гордеца, который попеременно изумлял и оскорблял современников. Здесь, под крылом смерти, явился истинный Челленджер, человек, сумевший завоевать и сохранить женскую любовь. Но его настроение

сразу изменилось, и он снова стал нашим твердым командиром.

— Один из всего человечества я предвидел и предсказал катастрофу, — сказал он, и в его голосе звучала гордость победителя, торжество ученого. — Надеюсь, добрейший Саммерли, ваши последние сомнения рассеялись и теперь вы не станете утверждать, что сдвиги в спектре ничего не значат и что мое письмо в «Таймсе» основано на заблуждении.

На этот раз наш воинственный товарищ был глух к вызову. Он только сидел в своем кресле и глубоко дышал, разминая свои длинные, тощие ноги, как будто хотел убедиться, что еще не покинул родную планету. Челленджер подошел к баллону с кислородом, и шумное шипение упало до едва уловимого свиста.

— Мы должны экономить наш запас газа, — сказал он. — Воздух в комнате перенасыщен кислородом, и, полагаю, никто из нас не ощущает угрожающих симптомов. Только на ряде опытов мы установим, какое количество кислорода, добавленное к атмосфере, нейтрализует яд. Посмотрим, хорошо ли будет так, как сейчас.

Минут пять мы сидели в напряженном молчании, прислушиваясь к собственным ощущениям.

Едва мне показалось, что я снова начинаю чувствовать тесный обруч на висках, как миссис Челленджер крикнула с дивана, что ей дурно. Ее муж снова отвернул кран и усилил приток газа.

— В младенческие дни науки, — сказал он, — на каждой подводной лодке обычно держали белую мышь, и как только воздух становился плох, на ее хрупком организме это сразу сказывалось — раньше, чем почувствуют духоту моряки. Ты будешь, дорогая, нашей белой мышкой. Я увеличил дозу, и тебе уже лучше.

— Да, мне лучше.

— Теперь, вероятно, мы напали на правильную пропорцию. Когда мы точно установим минимально необходимую дозу, можно будет подсчитать, сколько времени у нас впереди. К несчастью, чтобы прийти в себя, мы сразу израсходовали значительную часть первого баллона.

— Не все ли равно? — сказал лорд Джон. Он стоял у окна, засунув руки в карманы. — Нам так и так погибать, чего ж тянуть волынку. Ведь вы не видите для нас пути к спасению?

Челленджер улыбнулся и покачал головой.

— А если так, не достойней ли будет прыгнуть

в пропасть самим, не дожидаясь, когда тебя подтолкнут в спину? Раз это неизбежно, я предлагаю прочитать молитву, выключить кислород и открыть окно.

— В самом деле! — храбро поддержала женщина. — Конечно, Джордж, лорд Джон прав, так будет лучше.

— Решительно возражаю! — запротестовал Саммерли. — Коль скоро суждено умереть, мы, конечно, умрем; но добровольно ускорить смерть — такое поведение, по-моему, непростительно и просто глупо.

— Что скажет на это наш младший товарищ? — спросил Челленджер, повернувшись ко мне.

— Думаю, мы должны довести опыт до конца.

— Безоговорочно разделяю ваше мнение, — сказал наш предводитель.

— Если ты так говоришь, Джордж, то и я согласна с тобой, — объявила его жена.

— Хорошо, я не спорю, я только предложил, — согласился лорд Джон. — Если вы решили довести дело до конца, я с вами. Будет, что и говорить, чертовски интересно. Я изведал в жизни свою долю приключений, испытал столько острых минут, сколько положено человеку. А теперь я закончу самым великолепным аккордом.

— Даже приняв как данное, что жизнь имеет свое продолжение, — добавил Челленджер.

— Смелая гипотеза! — усмехнулся Саммерли.

Челленджер смерил его уничтожающим взглядом.

— Приняв как данное, что жизнь имеет продолжение, — поучительным тоном повторил он, — никто из нас не может предсказать, какие будут у него возможности из пространства духовного (назовем это так) наблюдать пространство материальное. Конечно, даже для последнего тупицы (он скосил глаза на Саммерли) должно быть очевидно, что, пока мы сами материальны, мы сохраняем наибольшую способность наблюдать материальные явления и составлять суждения о них. Значит, только при условии, что мы останемся живы эти несколько лишних часов, есть у нас надежда унести с собою в некое будущее существование ясное понятие о самом изумительном событии, какое когда-либо происходило в мире или во вселенной, — насколько нам известно. Для меня было бы крайне прискорбно, если бы наш необычайный опыт сократился хоть на одну минуту.

— Разделяю безоговорочно, — провозгласил Саммерли.

— Принято единогласно, — сказал лорд Джон. — Но смотрите! Там, во дворе, ваш несчастный шофер. Бедняга свое отъездил! Может, попробуем сделать вылазку и притащим его сюда?

— Это будет полнейшим безумием! — закричал Саммерли.

— Не смею отрицать, — ответил лорд Джон. — Это его не спасет, и мы только рассеем кислород по всему дому, если нам и удастся живыми вернуться назад. Эге! Взгляните на птичек под теми деревьями!

Мы четверо пододвинули наши кресла к широкому и низкому окну, и только женщина, закрыв глаза, осталась лежать на диване. Помню, кощунственная, уродливая мысль пронеслась в моей голове — может быть, тяжелый, спертый воздух, которым мы дышали, способствовал этой иллюзии, — мысль, что мы, заняв четыре кресла в первом ряду партера, смотрим последний акт трагедии мира.

На переднем плане, прямо у нас перед глазами, был маленький дворик и посреди него наполовину вымытый автомобиль. Остин, шофер, получил наконец окончательный расчет: он растянулся возле колеса, и большое пятно синело у него на лбу — стукнулся, должно быть, при падении

о подножку или о крыло. Он еще держал в руке шланг, из которого поливал машину. В углу двора стояли два молодых явора, а под ними лежало несколько комочков пуха с трогательно торчащими из них крохотными лапками. Смерть походя косила все — и большое и малое.

Перенеся взгляд за ограду дворика, мы могли видеть извилистую дорогу, что вела на станцию. Жнецы, недавно у нас на глазах бросившиеся бежать с полей, теперь лежали вповалку в дорожной пыли у подошвы холма. Немного выше по склону нянька полулежала на траве, упершись головой и плечами в откос. Она успела вынуть из коляски младенца, и он неподвижным свертком пеленок застыл у нее на руках. Рядом с нею пятнышко у дороги указывало, где растянулся второй ребенок — маленький мальчик. Еще ближе к нам, подогнув колени, стояла между оглобель мертвая лошадь. Старик извозчик свесился с облучка причудливым чучелом, и руки его нелепо болтались впереди. Мы смутно различали в оконце колымаги сидевшего в ней молодого человека. Дверца была распахнута, и пальцы его ухватились за ручку, словно в последнюю секунду он пытался выпрыгнуть на ходу. На половине подъема тянулось поле для гольфа,

испещренное так же, как и утром, силуэтами игроков, но только теперь они неподвижно лежали на скошенной траве поля и в окаймлявшем его вереске. На одном участке, самом зеленом, распласталось восемь тел — четверка самых азартных игроков и маленькие их помощники, до конца не ушедшие с поля. Ни одной птицы не видно было в синем куполе неба, ни один человек и ни одно животное не двигались во всем широком просторе, открывавшемся перед нами. Солнце мирно посылало косые лучи, но на все легла тишина и безмолвие смерти — вселенской смерти, к которой так скоро должны были приобщиться и мы. Сейчас только эта хрупкая стеклянная перегородка, удерживая добавочный кислород, который противодействовал отравленному эфиру, отделяла нас от судьбы, постигшей весь наш род. На несколько коротких часов знания и прозорливость одного человека уберегли маленький оазис жизни в бескрайней пустыне смерти и не дали общей гибели захватить и нас. Потом кислород наш иссякнет, и мы тоже растянемся, задыхаясь, на этом темно-вишневом ковре, на полу будуара, и тогда свершится до конца судьба человечества и всей жизни земной. Мы долго в торжественном молчании смотрели

трагедию мира. Челленджер первый решился заговорить.

— Загорелся дом, — вдруг сказал он, указывая на столб дыма, поднявшийся из-за деревьев. — Сейчас, надо полагать, происходит немало пожаров — горят, возможно, целые города: ведь сколько народу могло упасть с огнем в руках! Кстати, самый факт горения показывает, что относительное содержание кислорода в атмосфере остается нормальным и вся беда в эфире. Ага, вот и еще пожар — на вершине холма Кроуборо. Горит, если не ошибаюсь, гольф-клуб. Слышите? Бьют церковные часы! Тут есть над чем задуматься философу: созданный рукою человека механизм пережил племя своих творцов.

— Смотрите! — закричал лорд Джон, вскочив с кресла. — Клубится дым! Это поезд.

Мы услышали грохот колес, а вскоре и поезд влетел в поле нашего зрения, и быстрота его хода показалась мне неимоверной. Откуда он мчался и куда, мы не знали. Только каким-то счастливым чудом он мог продолжать свой путь. Но теперь нам суждено было увидеть страшный конец его бега. На путях стоял без движения длинный, груженный углем состав. Мы затаили дыхание, когда экспресс загромыхал по той же

колее. Столкновение было ужасно. Паровоз и вагоны сбились в груду щепок и мятого железа; здесь и там из горы обломков пробивались красные языки пламени, пока она вся не запылала. Полчаса мы сидели, не говоря ни слова, оцепенев перед зрелищем катастрофы.

— Бедные, бедные люди! — простонала наконец миссис Челленджер и в слезах припала к плечу мужа.

— Дорогая, пассажиры этого поезда были уже таким же неодушевленным предметом, как те вагоны, на которые они налетели, или как уголь, в который они превратились теперь, — сказал Челленджер и ласково погладил ее руку. — Поезд был полон живых людей, когда он отходил с вокзала Виктория, но он вез только мертвый груз и правили им мертвецы еще задолго до того, как его настиг рок.

— Во всем мире сейчас происходит то же самое, — сказал я тихо, между тем как странные видения проносились перед моими глазами. — Подумайте о пароходах в море: они будут плыть и плыть, пока не заглохнет в топке огонь или пока они не наскочат на подводный камень. А парусные суда? Как их будет качать и кружить с полным грузом мертвых моряков на борту,

и станет гнить их рангоут, разойдутся швы, дадут течь, пока одно за другим они не пойдут ко дну! Быть может, столетия спустя все еще будут носиться по Атлантике обломки погибших старых кораблей.

— А углекопы в шахтах! — сказал Саммерли с угрюмым смешком. — Если когда-нибудь каким-то чудом снова будут жить на земле геологи, они станут строить дикие теории о существовании человека в каменноугольных пластах.

— Я признаю свое полное невежество в таких вопросах, — заметил лорд Джон, — но мне кажется, что после нынешней катастрофы опустелая планета может вывесить дощечку: «Сдается внаем». Раз все человечество стерто с лица земли, откуда взяться новому?

— Мир поначалу был пуст, — серьезно возразил Челленджер. — По законам, которые в сути своей остаются вне нашего постижения, он населился людьми. Почему не повториться вновь тому же процессу?

— Дорогой мой Челленджер, неужели вы верите тому, что говорите?

— Не в моих привычках, профессор Саммерли, высказывать положения, в которые я сам не верю. Мое замечание самое обыденное. — Его кос-

матая борода стала торчком, глаза сощурились.

— Вы как жили упрямым догматиком, так и умрете! — усмехнулся Саммерли.

— А вы, сэр, прожили всю жизнь лишенным воображения педантом, и теперь у вас нет надежды пробиться к чему-то более высокому.

— Зато вас даже самые злые критики не обвинят в недостатке воображения, — отпарировал Саммерли.

— Честное слово, — вмешался лорд Джон, — вы оба верны себе до конца! Последний глоток кислорода готовы потратить на препирательство. Какое нам дело, возродятся люди или нет? Если и да, то уж, наверно, не в наше время.

— Это замечание, сэр, выдает вашу крайнюю ограниченность, — строго сказал Челленджер. — Мысль истинного ученого не остается привязанной к тем условиям времени и пространства, в какие он поставлен. Она воздвигает свою обсерваторию на пограничной черте настоящего, отделяющей бесконечность прошлого от бесконечности будущего. С этого надежного поста она делает вылазки к началу и концу всего сущего. Вы скажете: а смерть? Отвечу: научная мысль умирает на посту, работая нормально и методично до самого конца. Она не останав-

ливается на такой мелочи, как ее собственный физический распад, пренебрегая им в той же мере, как и всеми вообще ограничениями в нашем материальном пространстве. Разве я не прав, профессор Саммерли?

Саммерли не слишком любезно выразил свое согласие.

— До известных пределов, — пробурчал он, — я разделяю ваше мнение.

Челленджер продолжал:

— Идеальный научный ум — я говорю в третьем лице, чтобы не показаться слишком самонадеянным, — идеальный научный ум способен решать тот или другой отвлеченный вопрос в промежуток времени от падения своего обладателя с воздушного шара до мгновения, когда он коснется земли. Только такие люди достойны составить когорту покорителей природы и хранителей истины.

— Похоже, на этот раз победа осталась за природой, — сказал лорд Джон, не отводя глаз от окна. — Я не раз читал в газетных передовицах, будто вы, господа ученые, управляете природой; но она, оказывается, умеет дать сдачи.

— Это только временный отпор, — убежденно ответил Челленджер. — Несколько миллионов

лет — что они значат в великом круговороте времени? Растительный мир, как видите, выжил. Взгляните на листву этого явора. Птицы мертвы, но дерево стоит зеленое. Из растительной жизни в прудах и болотах возникнут со временем микроскопические комочки ползучей слизи — пионеры той великой армии жизни, в которой мы пятеро в этот час несем небывалую службу, составляя ее арьергард. Низшая форма жизни, раз возникнув, неизбежно ведет в конце концов к появлению человека, как неизбежно вырастает дуб из желудя. Колесо эволюции сделает еще один оборот.

— А яд? — спросил я. — Не убьет он жизнь на корню?

— Яд, возможно, образует лишь известный слой или пласт эфира — тлетворный Гольфстрим в могучем океане, по которому мы плывем. Или может выработаться известная невосприимчивость, и жизнь приспособится к новым условиям. Если мы пятеро при сравнительно небольшом избытке кислорода в крови способны выдержать отравление, это значит, что животной жизни не потребуется больших органических изменений для победы над ядом.

Дымившийся за деревьями дом вспыхнул

костром. Высоко взвились в воздухе языки пламени.

— Ужас! — прошептал лорд Джон.

Я впервые увидел его по-настоящему взволнованным.

— В сущности, не все ли равно? — сказал я. — Земля мертва. А кремация, по-моему, наилучший способ похорон.

— Если огонь перекинется на наш дом, нам сразу крышка!

— Я предусмотрел эту опасность, — сказал Челленджер, — и просил жену принять предохранительные меры.

— Все сделано, милый. Пожар нас не заденет. Но у меня опять стучит в висках. Какой тяжелый воздух!

— Сейчас мы его освежим, — сказал Челленджер. И наклонился над своим кислородным баллоном. — Этот уже почти пуст, — объявил он. — Нам его хватило на три с половиной часа. Сейчас около восьми. Мы свободно протянем ночь. Я жду конца часам к девяти утра. Мы увидим еще один рассвет, и он будет безраздельно нашим.

Он отвернул кран на своем втором баллоне и на полминуты открыл фрамугу над дверью. Когда воздух стал заметно свежей, но вместе с тем

острее стало сказываться на нас отравление, он поспешил захлопнуть ее.

— Кстати, — сказал он, — человек не может жить одним кислородом. Давно пора обедать. Смею вас уверить, любезные гости, когда я приглашал вас к себе в надежде приятно провести вместе время, я рассчитывал, что моя кухня оправдает себя. Но ничего не поделаешь. Надеюсь, вы со мной согласитесь, что было бы безумием до времени израсходовать наш воздух, разжигая керосинку. У меня припасено немного холодного мяса, хлеба и солений; прибавить бутылку-другую кларета — чем не обед? Спасибо, дорогая, ты и сейчас, как всегда, королева хозяек.

В самом деле, удивительно, как с чисто английским уважением к порядку и с хозяйской гордостью маленькая женщина в пять минут разостлала на круглом столе белоснежную скатерть, разложила салфетки и подала скромную закуску — все, как требует цивилизация, вплоть до электрического фонаря, установленного в виде лампы на середине стола! И еще удивительней было убедиться, что мы сохранили превосходный аппетит.

— Это мерило пережитого нами волнения, — сказал Челленджер тем снисходительным тоном,

каким он привык разъяснять в научном разрезе обыденные явления. — Мы прошли через великий кризис. Это означает большую затрату молекулярной энергии, которая требует возмещения. Большое горе и большая радость должны вызывать повышенный аппетит, а вовсе не отбивать охоту к еде, как утверждают наши романисты.

— Вот почему крестьяне устраивают пиры по случаю похорон, — посмел и я вставить свое слово.

— Именно! Наш юный друг привел превосходный пример. Разрешите положить вам еще ломтик копченого языка.

— То же наблюдается и у дикарей, — сказал лорд Джон, нацелившись на говядину. — Я видел раз, как туземцы на реке Арувими хоронили вождя и съели при этом целого бегемота, который весил, верно, не меньше, чем все они, вместе взятые. На Новой Гвинее некоторые племена съедают на поминках самого покойника — чтобы даром не пропадало добро. Однако из всех похоронных пиршеств на земле наше, думается мне, самое необычайное!

— Странное дело! — сказала миссис Челленджер. — Я не нахожу в себе печали о погибших.

У меня остались в Бедфорде отец и мать. Я знаю, что они умерли, и, однако, среди этой потрясающей мировой трагедии я не могу почувствовать острую боль за отдельных людей, даже за них.

— А моя старенькая мать — в Ирландии, в своем сельском домике, — сказал я. — Я как будто вижу ее перед собой: с шалью на плечах, в кружевном чепце, с закрытыми глазами, она сидит у окна, откинувшись на высокую спинку кресла, рядом лежат ее очки и книга. Что мне горевать о ней? Она отошла, и я отхожу вслед за нею, и, может быть, там, в новом бытии, мы будем ближе, чем здесь, когда я жил в Англии, а она — в Ирландии. И все-таки мне горько думать, что ее больше нет, моей родной!

— Если речь о теле, — заметил Челленджер, — так мы же не горюем при разлуке с кончиками ногтей или прядями остриженных волос, хотя они когда-то составляли часть нас самих. И одноногий инвалид не льет сентиментальных слез о своей утраченной ноге. Наше тело было для нас главным образом источником боли и усталости. Оно постоянно указывало нам на нашу ограниченность. Так чего же нам огорчаться, когда оно отделяется от нашего духовного «я»?

— Если только одно отделимо от другого, —

пробурчал Саммерли. — Нет, что ни говорите, всеобщая смерть ужасна!

— Как я уже объяснял, — возразил Челленджер, — всеобщая смерть по самой своей природе должна ужасать нас куда меньше, чем одиночная.

— Это как в бою, — заметил лорд Джон. — Если вы увидите одного человека, лежащего здесь на полу с раздавленной грудью и дыркой во лбу, вам станет дурно. А я видел в Судане десять тысяч трупов, лежавших навзничь, и ничего такого не почувствовал, потому что для творящих историю жизнь отдельного человека слишком ничтожна, чтоб о ней задумываться. Но когда погибают, как сегодня, тысячи миллионов, вы уже не отделяете свою личность от толпы.

— Ах, я хотела бы, чтобы и для нас все уже кончилось! — сказала в тоске миссис Челленджер. — Мне так страшно, Джордж.

— Когда настанет срок, ты будешь храбрее всех нас, моя маленькая. Твой грубый муж доставлял тебе немало хлопот, но ты понимаешь, что Джордж Эдуард Челленджер таков, каким он создан, и, как ни старайся, не может стать иным. Ведь ты не променяла бы его ни на кого другого?

— Ни на кого на свете, дорогой, — сказала жена

и обвила руками его бычью шею.

Мы трое подошли к окну и застыли, изумленные зрелищем, которое открылось нашим глазам.

Наступил вечер и одел мертвый мир в саван мрака. Но по южному горизонту протянулась длинная ярко-алая полоса. Нарастая и убывая, она билась трепетным пульсом жизни — то вдруг разливалась заревом до самого зенита, то опадала и тихо тлела лентой угасающего пламени.

— Льюис в огне! — закричал я.

— Нет, это горит Брайтон, — отозвался Челленджер, тоже подойдя к окну. — Видите, на фоне зарева вырисовываются горбатые спины холмов? Пожар по ту сторону их, за много миль. Город пылает, наверно, со всех концов.

Красные вспышки можно было наблюдать в нескольких местах, и тускло тлела еще на полотне железной дороги груда обломков, но все это казалось только искорками по сравнению с чудовищным пожаром, бушевавшим за холмами. Какой бы можно было выпустить номер «Дейли-газетт»! Перед кем из журналистов открывались когда-либо такие перспективы — и так было мало возможности использовать их! Из находок находка — и некому ее оценить! Во мне вдруг

проснулся неугомонный зуд репортера. Если эти мужи науки до конца остаются верны делу своей жизни, почему не могу и я проявить то же постоянство в своем скромном призвании? Пусть ни один человеческий глаз не увидит того, что я сделаю. Но как-никак впереди еще долгая ночь, а я и думать не могу о сне. Заметки помогут мне скоротать томительные часы и займут мои мысли. Вот как случилось, что я сейчас располагаю сплошь исписанным толстым блокнотом. Почерк неразборчив, так как писать пришлось, положив блокнот на колено, при тусклом, меркнущем свете нашего единственного электрического фонаря. Обладай я литературным дарованием, мои записи, возможно, были бы достойны своего предмета. Но и так они могут все же передать другим наши переживания и томительный ужас этой страшной ночи.

Глава IV
Хроника смерти

Как странно видеть эти слова, нацарапанные вместо заглавия на пустой странице моей записной книжки! Как странно, что написал их я, Эдуард Мелоун, который всего за полсуток перед тем оставил свои меблированные комнаты в Стритеме, нисколько не помышляя о чуде, которое готовил нам день! Я оглядываюсь назад, на цепь происшествий: мой разговор с Мак-Ардлом, первый сигнал тревоги — письмо Челленджера в «Таймсе», вздорные разговоры в поезде, приятный завтрак, катастрофа, — и вот, наконец, мы медлим одни на опустелой планете, и наша судьба так неизбежна, что эти строки, написанные машинально, по репортерской привычке, строки, которые никто никогда не прочтет, представляются мне речью человека, уже умершего, — так близко подошел он к туманной границе, перейденной всеми, кроме этого тесного круга друзей. Я сознаю, как были мудры и справедливы слова Челленджера, что истинной трагедией было бы для нас остаться жить,

когда все благородное, доброе, прекрасное погибло бы на земле. Но такая опасность нам, конечно, не грозит. Уже наш второй кислородный баллон подходит к концу. Мы можем высчитать скудный остаток нашей жизни чуть ли не с точностью до одной минуты.

Челленджер только что преподнес нам лекцию чуть не на двадцать минут. В возбуждении он так рычал, как если бы громил с кафедры своих научных противников, старых скептиков из Академии. Правда, ему пришлось ораторствовать перед довольно необычной аудиторией: его жена, не разбираясь в предмете, была заранее во всем с ним согласна; Саммерли жался в тени с недовольным видом, настроенный критически, но явно заинтересованный; лорд Джон растянулся в кресле, наскучив нескончаемыми спорами; и, наконец, сам я, стоя у окна, наблюдал за всем с каким-то отрешенным вниманием, как будто все это было сном или чем-то таким, что меня никак не касалось. Челленджер сидел за столом, направив фонарь на пластинку под микроскопом, которую принес из туалетной. Кружок белого света, отраженного зеркальцем, ярко озарял половину его топорного, заросшего лица, оставляя другую половину в густой тени.

Последнее время он, кажется, изучал низшие формы жизни и был сейчас сильно взволнован, увидев, что амеба на пластинке, заготовленной днем раньше, была еще жива.

— Да посмотрите же и сами увидите! — повторял он в крайнем возбуждении. — Саммерли, вы, может быть, подойдете и разрешите свои сомнения? Мелоун, не хотите проверить? Эти маленькие веретенца в середине препарата — бациллярии, они в счет не идут, так как их правильней относить не к животному миру, а к растительному. Но в правом углу вы увидите самую несомненную амебу — вот она лениво двигается по полю. Верхний винт — для точной установки по вашему глазу. Поглядите же сами!

Саммерли посмотрел и согласился. Потом и я заглянул в микроскоп и увидел крошечное создание, осколком матового стекла медлительно плававшее по освещенному кругу. Лорд Джон предпочел поверить на слово.

— Что мне до того, жива она или мертва? — сказал он. — Мы даже не знаем друг друга в лицо, зачем же я буду принимать к сердцу ее судьбу? Не думаю, чтобы амеба сколько-нибудь беспокоилась о нашем с вами здоровье.

Я рассмеялся при этих его словах, а Челленджер

навел на меня свой самый холодный и надменный взгляд. Под таким взглядом можно было окаменеть.

— Ветреность недоучки вредит науке больше, чем тупость невежды! Если бы лорд Джон Рокстон соизволил…

— Дорогой Джордж, оставь свою язвительность, — вмешалась его жена, проведя рукой по черной гриве, свесившейся над микроскопом. — Какое это имеет значение, жива амеба или нет?

— Огромное значение, — угрюмо проговорил Челленджер.

— Хорошо, послушаем, — благодушно улыбнулся лорд Джон. — Эта тема для разговора не хуже всякой другой. Если вы находите, что я был с вашей амебой слишком развязен или как-либо задел ее самолюбие, я готов перед ней извиниться.

— Я, со своей стороны, — начал Саммерли скрипучим голосом резонера, — не вижу, почему вы придаете такое значение тому обстоятельству, что амеба жива. Она дышит той же атмосферой, что и мы, и яд, естественно, не действует на нее. За пределами нашей комнаты она, наверно, умерла бы, как все прочие животные организмы.

— Ваше замечание, мой милый Саммерли, — ответил Челленджер с невообразимой снисходительностью (ах, если бы я мог зарисовать это самоуверенное, надменное лицо с прыгающим по нему ярким зайчиком света от зеркальца микроскопа!), — ваше замечание показывает, что вы не способны правильно оценить положение. Эта особь взята вчера и герметически закупорена. Наш кислород до нее не доходит. А вот эфир, конечно, проникает к ней, как он проникает всюду, по всей вселенной. И все-таки она не умерла от яда. Следовательно, мы вправе заключить, что и другие амебы, за пределами этой комнаты, не погибли во всемирной катастрофе, как вы ошибочно предполагаете, а остались живы.

— Хорошо, но я и теперь не склонен кричать «гип-гип ура», — заявил лорд Джон. — Какая нам разница?

— Разница та, что Земля жива, а не мертва. Если бы вы обладали научным воображением, вы могли бы перенестись мысленно вперед, и, исходя из этого единственного факта, вы на расстоянии двух — трех миллионов лет (а что они? Лишь мимолетный миг в бесконечном течении веков!) увидели бы целый мир, кишащий вновь животной и человеческой жизнью, возникшей

из этого слабенького корня. Вам, верно, случалось видеть степные пожары, когда пламя сметает всякий след травы и других растений с поверхности земли, оставляя лишь бурую пустошь? Вы могли бы подумать, что она так навсегда и останется пустыней. Но корни растений уцелели, и, когда через несколько лет вы придете на место пожара, вы уже не различите, где была бурая плешина. В этом микроскопическом существе заключены корни будущего животного мира, и со временем развитие наследственных свойств, эволюция, несомненно, загладит всякий след небывалого кризиса, который постиг нас сегодня.

— Чертовски занятно! — сказал лорд Джон и неторопливо подошел заглянуть в микроскоп. — Здравствуй, приятель! Ты будешь висеть номером первым в ряду фамильных портретов. Смотри ты, какая шикарная запонка у тебя на груди!

— Темное пятнышко — это клеточное ядро, — сказал Челленджер с видом няньки, показывающей буквы ребенку.

— Значит, мы можем не чувствовать себя одинокими, — рассмеялся лорд Джон. — На земле живет, кроме нас, кое-кто еще!

— Вы как будто считаете бесспорным, Челлен-

джер, — заговорил Саммерли, — что мир создан ради одной лишь цели — производить и поддерживать человеческую жизнь.

— А вы, сэр, можете указать какую-нибудь другую цель его создания? — ощетинился Челленджер при первом же намеке на противоречие.

— Иногда я думаю, что только по своему чудовищному самомнению человечество воображает, будто мироздание — всего лишь подмостки, воздвигнутые для его спеси.

— Я не собираюсь возводить это в догму, но, даже не обладая тем, что вы изволили назвать чудовищным самомнением, мы смело можем считать себя высшим творением природы.

— Высшим среди того, что нами познано.

— Это, сэр, разумеется без слов. Подумайте, миллионы или даже миллиарды лет Земля вертелась пустая или если не пустая, то все же без признаков человека, без намека на возможность его появления. Неисчислимые века ее омывали дожди, палило солнце, овевали ветры. По геологическому летосчислению человек явился из небытия только вчера. Так можно ли принимать как несомненное, что вся грандиозная подготовительная работа была произведена ради него?

— А ради кого же? Или ради чего?

Саммерли пожал плечами.

— Кто знает? У природы могут быть цели, непостижимые для нас… А человек, вероятно, простая случайность, побочный продукт общего процесса. Все равно, как если бы пена на поверхности океана вообразила, будто океан сотворен ради того, чтобы ее производить и поддерживать, или если бы церковная мышь возомнила, что здание собора — ее родовой замок.

Я скрупулезно, слово в слово записал их доводы. Но вскоре спор выродился в шумную перепалку, причем с обеих сторон посыпались двадцатисложные термины научного жаргона. Несомненно, завидная честь — слушать, как два первоклассных ума обсуждают самые высокие вопросы; но, так как они пребывают всегда в непримиримом разногласии, простые люди, вроде меня и лорда Джона, не могут вынести из подобных споров ничего положительного: доводы нейтрализуют друг друга, и мы остаемся ни с чем. Наконец гудение голосов умолкло, и Саммерли съежился в своем кресле, тогда как Челленджер, все еще покручивая винты микроскопа, продолжал глухо, нечленораздельно ворчать, как море после бури. Лорд Джон подхо-

дит ко мне, и мы вместе смотрим в ночь.

Светит бледный молодой месяц — последний месяц, на котором еще остановится глаз человеческий, и ярко горят звезды. Даже над нагорьем Южной Америки, где воздух так прозрачен, я не видел более ярких звезд. Возможно, изменения в эфире оказывают какое-то действие на свет. Погребальный костер Брайтона еще пылает, и на западном склоне неба показалось очень далекое алое пятно, которое может указывать на бедствие в Эранделе, Чичестере или даже в Портсмуте. Я сижу в раздумье, время от времени кое-что записываю. В воздухе разлита нежная печаль. Юность, красота, рыцарство, любовь — неужели всему конец? В звездном свете Земля рисуется страной тихого покоя, какая только может присниться во сне. Кто вообразил бы, что она — страшная Голгофа, усеянная трупами вымершего человечества? Я вдруг услышал собственный смех.

— Ого, молодой человек! — Лорд Джон с изумлением уставился на меня. — Мы еще, оказывается, можем потешаться в этот грозный час? Что вы нашли смешного?

— Я думал о всех великих неразрешенных вопросах, — ответил я. — О вопросах, которые

стоили стольких забот и трудов. Взять, к примеру, англогерманское соперничество или спор о Персидском заливе — конек моего шефа. Кто угадал бы, когда мы, бывало, курили и жарко спорили в редакции, как на самом деле разрешатся все эти «больные вопросы»!

И опять молчание. Наверно, все мы думаем о друзьях, которых больше нет. Миссис Челленджер тихо плачет, а муж что-то шепчет ей в утешение. Мне вспоминаются самые несхожие люди, и каждого я вижу белым и неподвижным, как бедный Остин во дворе. Вот, например, Мак-Ардл. Я знаю в точности, где он сейчас: голова упала на письменный стол, рука застыла на телефонном аппарате — я ведь слышал сам, как он упал. Или Бомонт, наш главный редактор, — думаю, он лежит на красно-синем турецком ковре, украшающем его кабинет. А мои товарищи репортеры — Макдона, Марри, Бонд? Они, несомненно, умерли в пылу работы, заполнив свои блокноты записями живых впечатлений и необычайных происшествий. Я легко представляю себе, как их откомандировали — одного к знаменитым врачам, другого — в Вестминстерское аббатство, а третьего — в собор св. Павла. Какие блистательные заголовки вставали

перед ними последним видением, которому — увы! — не суждено воплотиться в типографской краске. Я вижу Макдона среди врачей. «Надежда не напрасна». Мак всегда питал слабость к аллитерациям! «Интервью с Соли Уилсоном»… «Знаменитый терапевт говорит: отчаиваться рано»… «Наш специальный корреспондент нашел выдающегося ученого на крыше, куда он залез, спасаясь от толпы перепуганных пациентов, осадивших его квартиру. Не отрицая чрезвычайной серьезности положения, прославленный врач, однако, не допускает мысли, что всякое подобие надежды исключено». Так начал бы Мак. А Бонд? Он, вероятно, избрал бы собор св. Павла. Он верит в свой литературный талант. А ведь, правда, какая благодарная тема для него: «Я поднялся на хоры под самый купол и взираю с высоты на жалкий муравейник отчаявшихся людей, в эту последнюю минуту пресмыкающихся перед тою силой, которую они так упорно не желали признавать. И вот из смятенной толпы доносится до моих ушей такой жалкий стон мольбы и ужаса, такой потрясающий вопль о помощи, обращенный к неведомому…» И т. д. и т. д.

Да, для репортера это славная смерть, хотя бы он, подобно мне, должен был умереть,

так и не использовав свое сокровище. Чего бы не отдал бедняга Бонд, чтоб увидеть свои инициалы под таким столбцом!

Ну и вздор я написал! Но это просто попытка как-нибудь заполнить томительные минуты. Миссис Челленджер ушла в заднюю комнату, и профессор сказал, что она спит. Он сидит за круглым столом и, заглядывая в справочники, ведет запись так спокойно, как будто его ждут впереди долгие годы мирного труда. Пишет он, шумно скрипя своим стило, и кажется, что оно взвизгивает, высмеивая тех, кто не согласен с автором.

Саммерли заснул, и время от времени из его кресла доносится удивительно назойливый храп. Лорд Джон откинулся на спину, засунув руки в карманы и закрыв глаза. Просто непостижимо, как могут люди спать при таких обстоятельствах?!

Половина четвертого пополуночи. Я только что проснулся в испуге. Было пять минут двенадцатого, когда я написал последние слова. Я помню, как завел тогда часы и отметил время. Значит, я истратил зря чуть не пять часов из короткого оставшегося нам срока. Кто поверил бы! Зато я чувствую себя куда бодрей. Я готов принять свою

судьбу… или убеждаю себя, что готов. А все-таки чем крепче человек, чем выше в нем прилив жизни, тем страшней для него смерть. Как же мудра и милостива предусмотрительная природа, если обычно она понемногу, исподволь ослабляет якорь земной жизни человека, пока его помыслы не обратятся от земной неверной гавани к великому морю вечности!

Миссис Челленджер все еще не выходила из-за портьеры. Челленджер уснул в кресле. Что за картина! Богатырский торс откинулся назад, большие волосатые руки переплелись на жилете, а голова так запрокинута, что я ничего не вижу над его воротником, кроме всклокоченной пышной бороды. Он вздрагивает от раскатов собственного храпа. Саммерли нет — нет, а вплетет свой жиденький тенор в полногласный бас Челленджера. Лорд Джон тоже спит, его длинное туловище, перегнувшись пополам, свесилось в плетеном кресле набок. Первый холодный свет зари прокрадывается в комнату, и все предметы в нем серы и унылы.

Я смотрю в окно на рассвет — на роковой рассвет, который засияет над необитаемой землей. Род человеческий сгинул, истребленный за одни сутки, но планеты вершат свое кружение,

наступают чередой приливы и отливы, ропщет ветер, и вся природа живет, как жила, — вплоть, оказывается, до амебы, — и нигде ни признака, что тот, кто возомнил себя властителем мира, когда-либо украшал или пятнал своим присутствием вселенную. Внизу, во дворе, лежит, раскинув руки, Остин; тускло белеет его лицо в свете зари, и сопло шланга еще торчит из мертвого кулака. Весь род человеческий олицетворяет эта и смешная и трагическая фигура шофера, так беспомощно лежащая возле машины, которой он привык управлять.

* * *

Здесь кончаются заметки, сделанные мною в ту ночь. Дальше события развивались так быстро и властно, что записывать я не мог; но они до последней подробности врезались в память.

У меня вдруг перехватило дыхание, я поглядел на кислородные баллоны и содрогнулся перед тем, что увидел. Срок нашей жизни истекал. Среди ночи, пока мы спали, третий баллон иссяк, и Челленджер пустил в ход четвертый. Сейчас было очевидно, что и этот на исходе. Мерзкое удушье сильней сдавило мне горло. Я бросился к стене и, отвинтив регулятор, приладил его к на-

шему последнему баллону. Я делал это вопреки укорам совести, — ведь останься я сидеть сложа руки, мои товарищи могли бы мирно отойти во сне! Женский голос из-за портьеры отогнал эту мысль.

— Джордж, Джордж, я задыхаюсь!

— Все в порядке, миссис Челленджер, — отозвался я, а тут и остальные вскочили на ноги. — Я уже пустил газ из нового баллона.

Даже в такую трагическую минуту я не мог удержаться от улыбки, когда увидел, как Челленджер огромными волосатыми кулаками протирает глаза, точно большой бородатый младенец со сна. Саммерли, поняв положение вещей, затрясся мелкой лихорадочной дрожью: на одну минуту простой человеческий страх одержал верх над стоицизмом ученого. Лорд Джон, напротив, был так спокоен и бодр, как будто собирался на охоту.

— Пятый и последний, — сказал он, взглянув на баллон. — Но что это вы, молодой человек, сидели всю ночь с блокнотом на коленке — неужели записывали впечатления?

— Да, набросал кое-какие заметки, чтобы протянуть время.

— Ну и ну! Наверно, только ирландец способен

на такую штуку. Боюсь, вам придется ждать читателя, пока не подрастет сестрица амеба. Сейчас она едва ли хоть сколько-нибудь смыслит в литературе. Ну, герр профессор, какой ваш прогноз?

Челленджер всматривался в космы густого утреннего тумана, затопившего поля. Здесь и там лесистые холмы коническими островами поднимались из седого моря.

— Земля словно в саване, — сказала миссис Челленджер, выйдя к нам в утреннем халате. — Как там, Джордж, поется в твоей любимой песне? «Старому — звон похоронный, благовест — новому дню!»... Точно пророчество. Но вы продрогли, мои дорогие друзья. Мне было тепло под одеялом, а вы, бедные, мерзли в креслах всю ночь! Ничего, сейчас вы у меня согреетесь.

Храбрая маленькая женщина скрылась за портьерой, и вскоре мы услышали посвистывание котелка. Она вернулась, неся на подносе пять дымящихся чашек какао.

— Пейте, — сказала она, — вам сразу станет лучше.

Мы и в самом деле приободрились. Саммерли спросил разрешения, и все закурили — он свою трубку, мы трое папиросы. Курение, я думаю, укрепило наши нервы, но мы совершили страш-

ную ошибку, так как в комнате от табака стало нестерпимо душно. Челленджеру пришлось открыть вентилятор.

— На сколько хватит, Челленджер? — спросил лорд Джон.

Тот пожал плечами:

— Часа на три.

— Мне сперва было страшно, — сказала его жена. — Но чем ближе я подхожу к концу, тем легче он мне кажется. Не помолиться ли нам, Джордж?

— Молись, моя родная, если ты так хочешь, — ласково ответил ей богатырь. — Каждый из нас молится на свой лад. Примиренное приятие всего, что ни пошлет судьба, приятие полное и веселое — вот моя молитва. Высшая вера и высшая наука в этом для меня как бы сливаются воедино.

— Я погрешил бы против истины, если бы назвал свое душевное состояние примиренностью, да еще веселой, — проворчал Саммерли в чубук. — Меня принуждают, и я покоряюсь. Но, признаться, я охотно пожил бы еще годик-другой, чтобы закончить мою классификацию ископаемых мелового периода.

— Ваша незаконченная работа, — кичливо сказал Челленджер, — пустяк по сравнению

с тем, что мой собственный капитальный труд «Лестница жизни» так и не продвинулся дальше первой ступени. Мой ум, моя начитанность, мой опыт — словом, вся неповторимая совокупность качеств — были бы вложены в эту книгу, которая должна была составить эпоху в науке. И все-таки говорю вам: я приемлю судьбу!

— Думаю, у нас у всех что-нибудь осталось не доделано, — сказал лорд Джон. — Что у вас, например, молодой человек?

— Я работал над книгой стихов.

— Ну, теперь мир от нее избавлен, — вздохнул лорд Джон. — Покопаться, так всегда найдешь, что нет худа без добра.

— А у вас? — спросил я.

— Получилось так, что я как раз привел в порядок свои дела и готов ко всему. Вот только я обещал Мэривелу поехать с ним весной в Тибет на барса. Но за вас особенно обидно, миссис Челленджер: вы едва успели устроиться в этом уютном доме!..

— Где Джордж, там и дом мой. Но чего бы я ни дала, чтобы еще раз погулять вдвоем по этим милым холмам, подышать свежим утренним воздухом!

Ее слова задели нас всех за живое. Солнце

пробилось сквозь сизую завесу тумана и залило золотым своим светом всю ширь Уилда: а мы сидели взаперти, в сумрачной, ядовитой атмосфере, и восхитительный вид за окном, этот чистый, овеянный ветром деревенский простор, был для нас как воплощенная мечта о красоте. Миссис Челленджер в тоске протянула руки к холмам. Мы сдвинули кресла и сели полукругом у самого окна. Стало очень душно. Мне казалось, тени смерти надвигаются на нас — последних в роде человеческом. Как будто невидимый занавес опускался со всех сторон.

— Этого баллона хватит ненадолго, — сказал лорд Джон и жадно глотнул воздух.

— Количество газа в данном объеме есть величина переменная, — пояснил Челленджер. — Она зависит от того, под каким давлением его вводили в сосуд и насколько тщательно соблюдалась при этом осторожность. Я склонен согласиться с вами, Рокстон, что баллон с изъяном.

— Выходит, у нас украли последний час нашей жизни! — со злостью сказал Саммерли. — Это превосходно рисует нам напоследок, в какой мы жили подлый и корыстный век. Что ж, Челленджер, если вы наметили изучить субъективные

явления физического распада, — пора приступать.

— Садись на скамеечку у моих ног и дай мне руку, — сказал Челленджер жене. — Думаю, друзья, едва ли стоит медлить дольше в этой нестерпимой духоте. Ведь ты не хочешь, дорогая, правда?

Жена тихо застонала и уткнулась лицом в его колени.

— Я не раз смотрел, как люди зимой купаются в Серпентайне[4], — сказал лорд Джон. — Когда почти все вошли в воду, двое-трое еще дрожат на берегу и завидуют тем, кто посмелей и уже окунулся. Хуже всех последнему. Я за то, чтобы сразу в воду с головой — и конец!

— Что же, по-вашему? Отворить окно — и пусть эфир делает свое дело?

— Лучше яд, чем удушье.

Саммерли, неохотно соглашаясь, кивнул головой и протянул Челленджеру худую руку.

— Мы в свое время часто ссорились, но теперь это все позади, — сказал он. — В глубине души мы всегда были добрые друзья и уважали друг друга. Прощайте.

— Прощайте, мой мальчик! — сказал мне лорд

---

[4] Сноски: 4
Цепь прудов в Лондоне, в Гайд-парке.

Джон. — Окно запечатано. Вам его так не открыть.

Челленджер наклонился, поднял жену и прижал ее к груди, а жена обвила руками его шею.

— Дайте мне этот полевой бинокль, Мелоун, — сказал он спокойно.

Я подал.

— В руки той силы, что создала нас, предаемся вновь! — прогремел его голос, и с этими словами он бросил бинокль в окно.

Еще не отзвучал звон последних осколков, как благодатный ветер обдал наши пылающие лица сильным и сладким дыханием. Не знаю, как долго мы сидели в изумленном молчании. Потом, как сквозь сон, я вновь услышал голос Челленджера.

— Мы вернулись к нормальным условиям! — вскричал он. — Земля пронеслась сквозь отравленный пояс, но из всего человечества спаслись мы одни.

Глава V
Мертвый мир

Помню, мы все сидели в креслах и жадно глотали свежесть и влагу, которые нес нам с моря юго-западный ветер, взвивая шелковые занавеси и охлаждая наши горящие лица. Сколько времени мы так просидели? Впоследствии мы никак не могли согласно ответить на этот вопрос. Мы были ошеломлены, оглушены, чуть не без чувств. Перед тем мы собрали все свое мужество, чтобы встретить смерть, но этот новый поворот, страшный и нежданный — то, что мы остались одни на земле, пережив весь род человеческий, — нанес нам тяжелый, телесно ощутимый удар и оставил нас в оцепенении. Потом приостановленная машина снова понемногу начала работать, засновал челнок памяти, мысли в мозгу стали сплетаться в ткань. С живой, беспощадной ясностью мы увидели соотношение прошлого, настоящего и будущего — ту жизнь, которой мы жили раньше, и ту, что нам предстояла теперь. В безмолвном ужасе смотрели мы друг на друга и читали в ответном взгляде товарищей

тот же ужас. Вместо радости, какую, казалось бы, должны были испытывать люди, только что избежавшие неминуемой смерти, нас захлестнуло волной черное уныние. Все, что мы любили на земле, смыто в бесконечный неведомый океан, и мы высажены одни на необитаемый остров, без товарищей, без ожиданий, без надежд. Несколько лет будем рыскать, как шакалы, между могилами вымершего человечества, а потом придет и наш запоздалый и одинокий конец.

— Это ужасно, Джордж, ужасно! — простонала Женщина, захлебываясь от рыданий. — Ах, если бы мы погибли с другими! Зачем ты спас нас? У меня такое чувство, точно мы мертвы, а все остальные живы.

Густые брови Челленджера насупились в сосредоточенной думе, между тем как его большая волосатая лапа сжала протянутую к нему руку жены. Я заметил, что в беде жена всегда вот так тянулась к нему руками, точно ребенок к матери.

— Я не настолько фаталист, чтобы проповедовать непротивление, — сказал он, — но тем не менее я всегда считал, что высшая мудрость — в примирении с действительностью. Он говорил медленно, и его полнозвучный голос дрожал,

проникнутый глубоким чувством.

— А я не согласен примириться, — твердо сказал Саммерли.

— А по-моему, ваше согласие или несогласие не стоят и выеденного яйца, — заметил лорд Джон. — Вы просто вынуждены принять судьбу, а как вы примете ее — готовясь к бою или упав на колени, — не все ли равно? Насколько я помню, никто не спрашивал нашего разрешения, когда началась эта штука, и никто, похоже, не спросит и теперь. Так что какая разница, что мы думаем на этот счет?

— Разница та же, как между счастьем и горем, — сказал Челленджер, глядя на нас отсутствующим взглядом и все еще поглаживая руку жены. — Вы можете плыть по течению, сохраняя душевный мир, и можете ринуться против него и бороться до изнеможения. Не в наших силах что-нибудь изменить, а потому примем все так, как оно есть, и не будем роптать.

— Но что мы теперь станем делать? Для чего будем жить? — бросил я в отчаянии в пустое синее небо. — Что, например, буду делать я? Не стало газет — значит, конец моему призванию.

— Не на кого охотиться, не с кем воевать, так что и для меня все кончено, — сказал лорд

Джон.

— Не стало студентов — значит, кончено и для меня, — прохрипел Саммерли.

— Но у меня остался муж, остался дом — значит, я могу благодарить небо, для меня не все еще кончено, — сказала женщина.

— Не кончено и для меня, — заметил Челленджер, — потому что наука не умерла, и катастрофа сама по себе предлагает нам для исследования множество захватывающих проблем.

Он успел распахнуть окна, и мы, не отрывая глаз, глядели на безмолвный и недвижный ландшафт.

— Дайте сообразить… — продолжал он. — Было часа три, начало четвертого, когда Земля вчера днем окончательно вошла в отравленную зону — настолько, что вся погрузилась в яд. Сейчас девять утра. Спрашивается, в котором часу мы вышли из пояса яда?

— На рассвете воздух был очень тяжел, — сказал я.

— Да и позже, — сказала миссис Челленджер. — Я еще в восемь часов ясно ощущала, что у меня спирает дыхание, как это было в самом начале.

— Значит, будем считать, что из отравленного пояса мы вышли в начале девятого. Земля сем-

надцать часов была погружена в ядовитый эфир. За это время великий садовник очистил свои плоды от человеческой плесени, разросшейся на их поверхности. Возможно ли, что он не довел свою работу до конца — что выжили и другие, кроме нас?

— Я задавал себе тот же вопрос, — сказал лорд Джон. — Может, найдутся на берегу и другие гальки, как и мы, не смытые прибоем.

— Совершенно немыслимо, чтобы кто-либо мог выжить, кроме нас! — убежденно сказал Саммерли. — Учтите, яд был так зловреден, что даже человек, который силен, как бык, и не знает, что такое нервы, — такой человек, как наш Мелоун, — еле-еле поднялся по лестнице и тут же упал без чувств. Как можно думать после этого, чтобы кто-либо выжил хоть семнадцать минут, не то что семнадцать часов?

— А если кто-нибудь еще предвидел катастрофу и приготовился к ней так же, как наш друг Челленджер?

— Это едва ли возможно! — Челленджер задрал бороду и сощурил глаза. — Сочетание наблюдательности, логики и богатого воображения — всего, что мне позволило предвосхитить опасность, — вряд ли может встретиться дважды

в одном поколении.

— Итак, ваш вывод, что все безусловно мертвы?

— Это почти несомненно. Однако не следует забывать, что действие яда начало сказываться сперва в низинах, потом выше и выше, так что в верхних слоях атмосферы оно могло быть и не столь смертоносным. Странно, почему это так, но здесь мы наталкиваемся на одну из тех задач, которые в будущем откроют перед нами соблазнительное поле для исследований. Итак, легко себе представить, что если кто захочет искать людей, оставшихся в живых, ему придется обратить свой взор к какому-нибудь тибетскому селению или альпийской ферме на высоте многих тысяч футов над уровнем моря.

— А так как нет ни железных дорог, ни пароходов, можно с тем же успехом искать людей на Луне, — сказал лорд Джон. — Я спрошу другое: игра сыграна или это только перерыв?

Саммерли вытянул шею, чтоб оглядеть горизонт.

— Небо как будто ясное и чистое, — сказал он нерешительно. — Но так же было и вчера. Я далеко не уверен, что опасность миновала.

Челленджер пожал плечами.

— Мы снова должны положиться на судьбу, — сказал он. — Если мир когда-либо переживал подобное — а такая возможность отнюдь не исключена, — то это было, несомненно, в весьма отдаленные времена. Мы с полным основанием можем надеяться, что если катастрофа и повторится, то очень не скоро.

— Так-то оно так, — сказал лорд Джон. — Но, когда вас застигнет землетрясение, вы почти наверное можете сразу за первым толчком ждать второго. Я предлагаю размять ноги и пойти подышать свежим воздухом, покуда можно. Наш кислород иссяк, так что все равно, где нас застигнет, на воле или в четырех стенах.

Но после всех волнений, пережитых за последние сутки, нами овладела полная апатия. Реакция была и нравственная и физическая, в глубине сознания угнездилось чувство безразличия ко всему, ничто, казалось, не стоило труда. Даже Челленджер поддался этой апатии и сидел в кресле, подперев голову обеими руками и унесшись мыслями вдаль, пока лорд Джон и я, подхватив с двух сторон под мышки, не подняли его на ноги дружным усилием, и наградой нам был свирепый взгляд цепного пса и грозное рычание. Однако раз уж мы так или иначе вышли

из нашей тесной гавани и могли дышать более вольным воздухом повседневной жизни, к нам мало-помалу вернулась обычная наша энергия.

Но за какое дело могли мы взяться на этом всесветном кладбище? Испокон веков вставал ли когда перед человеком подобный вопрос? Правда, в смысле наших телесных потребностей — даже в предметах роскоши — мы были обеспечены на будущее. Все запасы пищи, все винные склады, все сокровища искусства были наши — только бери! Но что нам было делать? Сперва мы обратились к той незначительной работе, что была тут же под рукой: сошли в кухню и уложили двух служанок, каждую на ее кровать. Они скончались, по-видимому, без страданий — одна в кресле у печки, другая на полу подле мойки. Потом мы внесли в дом бедного Остина. В смертном оцепенении ему свело мускулы, и они одеревенели, меж тем как судорога искривила его рот в горькую усмешку. Эта особенность наблюдалась у всех, кто умер от яда. Куда ни погляди, везде мы встречали те же осклабленные лица, они как будто глумились над нами в нашем отчаянии, улыбаясь молчаливо и угрюмо в лицо злополучным счастливцам, пережившим весь человеческий род.

— Вы как хотите, — сказал лорд Джон, беспокойно шагавший взад и вперед по столовой, пока мы завтракали, — а я просто не могу сидеть здесь, ничего не делая!

— Может быть, вы будете любезны высказать, — ответил Челленджер, — что, по-вашему, мы должны предпринять?

— Прежде всего сняться с места и посмотреть, что произошло.

— Я предложил бы то же самое.

— Но не в этой деревушке. Все, что тут есть поучительного, мы можем увидеть в окно.

— Куда же мы двинем?

— В Лондон!

— Хорошо вам рассуждать, — заворчал Саммерли. — Может быть, вам обоим нипочем отшагать сорок миль, но Челленджеру едва ли дойти до места на своих колодах, а я-то не дойду наверняка!

Челленджер вломился в амбицию.

— Если бы, сэр, изощряясь в остроумии, вы занялись обсуждением вашего собственного телесного склада, перед вами открылось бы достаточно широкое поле для дискуссий, — раскипятился он.

— Я вовсе не хотел вас обидеть, милый Челленджер, — ответил наш неосторожный друг. —

Человек не отвечает за свое сложение. Если природа дала вам короткое и тяжелое туловище, то вы не виноваты, что у вас ноги как колоды.

Челленджер от ярости даже не мог отвечать. Он только ощетинился весь, моргал глазами и рычал. Лорд Джон поспешил вмешаться, пока спор не разгорелся еще сильней.

— Кто говорит о ходьбе? Нам незачем идти пешком, — сказал он.

— Уж не предложите ли ехать поездом! — прошипел Челленджер, все еще не успокоившись.

— А почему нам не поехать в автомобиле? Чем плохо?

Челленджер задумчиво дергал свою бороду.

— Я по этой части не знаток, — сказал он. — Но, с другой стороны, вы совершенно правы, полагая, что человеческий интеллект в своем наивысшем проявлении окажется достаточно гибок, примененный к любому делу. Вы напали на превосходную мысль, лорд Джон. Я сам повезу вас в Лондон.

— Вы ничего подобного не сделаете, — решительно заявил Саммерли.

— Нет, конечно, не надо, Джордж! — вмешалась и жена. — Ты только раз попробовал и помнишь, как ты разнес ворота гаража?

— Это произошло от минутной рассеянности, — примирительно сказал Челленджер. — Решено! Я везу вас всех в Лондон.

Лорд Джон еще раз спас положение.

— Какая у вас машина?

— «Хамбер». Двадцать лошадиных сил.

— Да я же водил такую много лет! — сказал лорд Джон и, помолчав, добавил: — Черт возьми! Вот уж не думал я дожить до того, что повезу в автомобиле сразу весь род людской. Помнится, там как раз пять мест. Собирайте вещи, я подам машину ровно в десять.

Точно в назначенный час машина, кряхтя и фырча, подкатила к подъезду с лордом Джоном у руля. Я занял место рядом с ним, а на заднем сиденье миссис Челленджер втиснулась маленьким, но необходимым буфером между двумя гневливыми профессорами. Затем лорд Джон отдал тормоза, быстро перевел рычаг с первой скорости на третью, и мы пустились в самую странную поездку, в какую только случалось пускаться людям, с тех пор как человек впервые появился на Земле.

Вообразите сами всю прелесть природы в тот августовский день: свежий утренний воздух, золотое сияние летнего солнца, безоблачное

небо, буйную зелень суссекских лесов и темный пурпур одетых вереском холмов. Поглядев вокруг на эту многоцветную красоту, вы бы и думать забыли о небывалой катастрофе, когда бы не один зловещий признак: торжественное всеобъемлющее безмолвие. Деревенскую местность с густым населением всегда наполняет милый гомон жизни, такой гулкий и такой постоянный, что его перестаешь замечать, как не чувствует приморский житель постоянного ропота волн. Щебет птиц, жужжание насекомых, глухое эхо голосов, мычание коров, собачий лай вдали, и грохот поездов, и стук колес на проселках — все это сливается в густой, немолчный шум, который ухо, не слушая, слышит. Нам его теперь недоставало. Мертвое безмолвие страшило нас. Оно было так торжественно, так властно, что шум нашей машины казался беззаконным вторжением, непристойным невниманием к уважительной тишине, которая легла покровом на руины мира человеческого. Это молчание да клубы дыма, высоко подымавшегося здесь и там над догоравшими домами, вселяли холод в наши сердца, когда мы обводили взглядом великолепную панораму Уилда.

И потом — мертвецы! Сперва мы в трепете

отшатывались при виде все новых и новых вытянутых и осклабленных лиц. Так было живо впечатление и так врезалось в мозг, что сейчас я точно заново совершаю этот медленный спуск с холма к станции — проезжаю мимо няньки с двумя детьми, вижу старую лошадь, упавшую на колени между оглобель, вижу перегнувшегося с козел возчика и молодого человека в колымаге, который схватился рукой за открытую дверцу да так и застыл, не успев соскочить. Дальше лежали вповалку шесть жнецов. Их руки и ноги раскинуты как попало, мертвые глаза недвижно смотрят ввысь, в пылающую синеву. Эти подробности я вижу, как на фотографии. Но вскоре по милостивой предусмотрительности природы нервы, слишком возбужденные, перестали реагировать. Сама чрезмерность кошмара притупляла его воздействие на человека. Отдельные лица тонули в группах, группы — в толпах, толпы — во всеобщем явлении, которое вскоре стало восприниматься как непременная подробность каждого пейзажа. Только временами какая-нибудь особенно жестокая или причудливая сцена вдруг привлекала внимание и резким толчком возвращала мысль к жизненному, человеческому значению этих картин.

Тяжелее всего поражала судьба детей. Помню, она наполняла нас нестерпимым чувством несправедливости. Мы едва не плакали, — а миссис Челленджер и впрямь заплакала, — когда проезжали мимо большой приходской школы и увидели длинную вереницу детских трупиков вдоль ведущей от нее дороги. Перепуганные учителя распустили классы, и дети спешили домой, когда яд уловил их в свою сеть. Много людей было видно у открытых окон домов. В Танбридж-Уэлсе, кажется, не было ни одного окна, из которого не глядело бы лицо, застывшее в улыбке. В последнее мгновение жажда воздуха — та самая тяга к кислороду, которую мы одни смогли удовлетворить, — бросала несчастных к окну. Тротуары были тоже выстланы телами простоволосых женщин и мужчин, которые, не думая о шапках и шляпках, опрометью выбегали на улицу. Многие упали на мостовой. На наше счастье, лорд Джон оказался искусным шофером: выбирать дорогу было не так-то легко. Через деревни и города приходилось пробираться самым тихим ходом, а однажды, помню, против школы в Тонбридже мы сделали остановку, чтобы оттащить в сторону тела, совсем загородившие проезд.

В памяти моей сохранилось лишь немного отдельных картин из этой длинной панорамы смерти, развернувшейся вдоль шоссейных дорог Суссекса и Кента. Мне среди прочего запомнился большой сверкающий автомобиль у подъезда деревенской гостиницы в Саутборо. Он, вероятно, вез компанию, возвращавшуюся из увеселительной поездки к морю — в Брайтон или Истборн. Это были три нарядные дамы, все три молодые и красивые, одна с китайской собачкой на коленях. При них — фатоватый пожилой господин и юный аристократ с моноклем в глазу и с прогоревшей до мундштука папиросой между пальцев затянутой в перчатку руки. Смерть, видно, захватила их мгновенно, сковав в той позе, как они сидели. Если бы старый волокита в последний миг, задыхаясь, не сорвал с себя воротничок, можно было подумать, что все они уснули. Возле автомобиля по одну сторону, у самой подножки, прикорнул слуга, а вокруг валялись рядом с подносом осколки стаканов. По другую сторону лежали двое оборванцев — мужчина и женщина; мужчина упал, протянув вперед длинную, тощую руку — как он всю жизнь протягивал ее за милостыней. Одно мгновение сравняло аристократа, слугу, нищего и собаку, превратив их всех в кос-

ную, разлагающуюся протоплазму.

Запомнилась еще одна поразительная картина. В нескольких милях от Севенокса — как едешь к Лондону, то с левой стороны — высится на придорожном холме большой женский монастырь, а прямо от него спускается пологий зеленый склон. На этом склоне собралось много школьников, и все они, мальчики и девочки, стояли на коленях, приготовясь к молитве. Перед ними, заключив их в кольцо, лежали монахини, а выше по склону, к ним лицом, — одинокая фигура, должно быть, настоятельница монастыря. В отличие от искателей развлечений в том роскошном автомобиле эти люди были, как видно, предупреждены о надвигавшейся опасности и умерли достойно, учителя с учениками вместе, собравшись на этот последний единый для всех урок.

У меня и сейчас кровь леденеет от ужаса, и тщетно ищу я слов, чтобы передать наши чувства. Может быть, самое правильное — оставить такие попытки и ограничиться сухим изложением фактов. Даже Саммерли и Челленджер были подавлены, и за спиной мы не слышали ничего, кроме прорывавшегося вдруг тихого плача женщины. Лорд Джон был так поглощен своей трудной задачей — вести машину да еще выбирать

дорогу, что на разговоры у него не оставалось ни времени, ни охоты. Он только повторял одну и ту же фразу так неизменно, что она, как заноза, застряла в моей памяти и под конец едва не вызывала у меня смех, до того нелепо звучала она применительно к видению страшного суда:

— Ну и дела! Здорово!

Этими словами он встречал каждую новую потрясающую картину бедствия и смерти, вставшую перед нами. «Ну и дела! Здорово!» — восклицал он, когда мы совершали спуск от Ротерфилда к станции; и все приговаривал: «Ну и дела! Здорово!», — когда вел машину сквозь дебри смерти по Главной улице Луишема и по старой кентской дороге.

Здесь, в Луишеме, мы неожиданно увидели то, что нас больше всего поразило. В окне бедного углового домика развевался белый платок, которым махала чья-то длинная, тощая рука. Еще ни разу ни при одной картине внезапной смерти так не замирали наши сердца и не бились потом так бешено, как при этом поразительном признаке жизни. Лорд Джон подвел машину к тротуару, и мгновение спустя мы кинулись в открытую дверь, взбежали по лестнице на третий этаж и влетели в комнату с окном на улицу,

откуда был подан сигнал.

В кресле у раскрытого окна сидела очень старая дама, а рядом с нею на втором кресле лежал баллон с кислородом, такой же, как те, что спасли нам жизнь, но только поменьше. Когда мы столпились у входа, дама повернула к нам худое, длинное лицо в роговых очках.

— Я уже боялась, что меня тут оставили одну навсегда, — сказала она. — Я калека, не могу тронуться с места.

— К счастью, сударыня, — ответил Челленджер, — мы случайно проезжали мимо.

— Я должна задать вам один очень важный вопрос, — сказала старуха. — Умоляю вас, джентльмены, скажите мне откровенно: как эти события отразятся на акциях Северо-Западной железной дороги?

Мы бы рассмеялись ей в лицо, если бы она не глядела на нас с таким трагическим нетерпением, ожидая ответа. Миссис Бертон (так звали старуху) была вдова. Ее небольшое состояние было помещено в эти акции, уклад ее жизни зависел от подъема и снижения дивидендов, и все на свете она воспринимала только в связи с тем, как оно отражалось на курсе этих акций. Тщетно старались мы втолковать ей, что теперь

все деньги на земле в ее распоряжении — бери сколько хочешь! — но что их не стоит брать. Ее старушечий ум не мог освоиться с этой новой мыслью, и она громко плакала о своем погибшем капитале.

— У меня только и было, что эти акции, — разохалась она. — Если они пропали, то и я теперь пропаду!

Из ее причитаний мы уяснили, каким образом этот хилый, старый росток остался жив, когда пал кругом весь великий лес. Инвалид, она была прикована к креслу да еще и страдала астмой. Кислород был ей прописан по болезни, и к началу катастрофы в комнате у нее оказался баллон. Когда ей стало трудно дышать, она, естественно, схватилась за трубку, как делала это всегда. Привычное средство принесло ей облегчение, и она, экономно расходуя свой запас, кое-как протянула ночь. Утром она заснула и спала, пока ее не разбудил шум нашей машины. Так как взять ее с собой было невозможно, мы снабдили ее необходимыми припасами и пообещали проведать ее не позже, как через два дня. Так мы ее и оставили, все еще горько причитавшую о своих обесцененных акциях.

По мере приближения к Темзе заторы на ули-

цах становились все плотнее, препятствия сложней. С большим трудом мы перебрались через Лондонский мост. Спуск от моста к Мидлсексу был из конца в конец так забит неподвижным транспортом, что продвигаться дальше в этом направлении стало невозможно. У одной из верфей близ моста пылал пароход, и воздух был полон летучей копоти и тяжелого, едкого запаха гари. Неподалеку от здания Парламента висело облако густого дыма, но где пожар, мы не могли определить.

— Не знаю, как на ваш взгляд, — сказал лорд Джон, остановив машину, — а по-моему, в деревне веселей, чем в городе. Мертвый Лондон действует мне на нервы. Я предлагаю объехать город кругом и вернуться в Ротерфилд.

— Признаться, я не вижу, на что мы здесь можем надеяться, — поддержал профессор Саммерли.

— Тем не менее, — заговорил Челленджер, и его могучий голос странно отдавался среди мертвой тишины, — трудно представить себе, чтобы из семи миллионов населения никто, кроме той старухи, в силу ли каких-то исключительных свойств организма, или по особому роду своих занятий не оказался способен пережить

катастрофу.

— Даже если выжили еще и другие, разве есть у нас надежда отыскать их? — вздохнула миссис Челленджер. — И все-таки, Джордж, я согласна с тобой: мы не можем сразу повернуть назад, не сделав даже попытки!

Выйдя из машины и оставив ее у обочины, мы не без труда стали пробираться по запруженному тротуару Кинг-Уильям-стрит и вошли в распахнутую дверь крупной страховой конторы. Дом был угловой, и мы выбрали его, потому что отсюда открывался широкий вид на все четыре стороны. Поднявшись по лестнице, мы пересекли большую комнату — кабинет правления, решил я, так как посреди нее сидели за длинным столом восемь пожилых мужчин. В открытую настежь стеклянную дверь мы вышли все на балкон. Отсюда мы могли видеть расходившиеся радиусами улицы Сити, сплошь устланные трупами, а мостовая под нами из края в край чернела крышами неподвижных такси. Почти все они были повернуты не к центру города, а в обратную сторону, — видно, каждый из этих дельцов, охваченный ужасом, в последнюю минуту напрасно рвался за город к своей семье. Здесь и там среди более скромных машин красовался боль-

шой, блистающий медью лимузин какого-нибудь финансового магната, беспомощно застрявший в недвижном потоке транспорта. Прямо под нами стояла одна такая машина, очень большая и очень шикарная. Ее владелец, старый толстяк, наполовину высунулся в окно своим грузным туловищем и оттопырил пухлую, сверкающую бриллиантами руку, словно понукая шофера сделать последнее усилие пробиться сквозь затор.

В середине потока высокими островами поднимался десяток автобусов, и пассажиры на империалах лежали где кучей, где накрест один на другом, точно игрушки в детской. Среди улицы, на широком цоколе фонаря стоял дюжий полисмен, и не верилось, что он мертв: так естественно он прислонился спиной к столбу; а у ног его грудой лохмотьев лежал мальчишка-газетчик, и рядом на мостовой — кипа газет. Тут же стоял затертый в толпе газетный фургон, и мы могли прочесть на большом плакате черным по желтому: «Скандал на футболе. Матч на первенство по графству сорван». Это относилось, по-видимому, к ранним выпускам, так как другие плакаты вещали: «Наступил ли конец света? Предупреждение великого ученого». И рядом: «Прав ли Челленджер? Зловещие слухи».

Челленджер указал жене на этот последний плакат, который вознесся над толпой, как знамя. Выпятив грудь и поглаживая бороду, он читал и перечитывал плакат. Видно, сложному уму ученого льстила мысль, что Лондон умирал, памятуя его слова и с его именем на устах. Эти чувства так откровенно отразились на его лице, что Саммерли не удержался и съязвил:

— Что, Челленджер, в лучах славы до конца?

— Очевидно, так, — миролюбиво ответил Челленджер. — Пожалуй, нам больше незачем оставаться в Лондоне, — добавил он, еще раз окинув взором длинные радиусы улиц, безмолвных, забитых мертвецами. — Предлагаю немедленно вернуться в Ротерфилд и там посовещаться о том, как нам потолковей использовать годы, лежащие впереди.

Я передам еще только одну картину, из тех, что мы уносили в памяти, покидая мертвый город. Она представилась нам, когда мы заглянули в старую церковь святой Марии, — как раз у того места, где ждал наш автомобиль. Пробравшись между распростертыми на паперти телами, мы толкнули тяжелую дверь и вошли. Удивительное зрелище представилось нам. Церковь была битком набита коленопреклонен-

ными фигурами во всевозможных позах мольбы и уничижения. В грозную последнюю минуту, внезапно встретившись лицом к лицу с правдой бытия — тою страшной правдой, что всегда нависает над нами, пока мы гоняемся за призраками, — люди в панике бросились в старенькие церковки Сити, где, верно, десятками лет служба не собирала паствы. Они столпились так тесно, чтобы только можно было как-нибудь стать на колени, и многие в переполохе даже не сняли шляп, а с кафедры молодой человек в одежде мирянина, по-видимому, обратился к ним со словом, когда и их и его настигла общая судьба. Теперь он болтался, как петрушка в балаганчике, свесив через борт кафедры голову и бессильные руки. Серое, пыльное убранство церкви, ряды фигур, застывших в предсмертной судороге, безмолвие и полумрак — все было, как страшный сон. Мы понизили голоса до шепота и двигались на цыпочках.

И тут меня вдруг осенило. В углу церкви, возле двери, стояла старая купель, а за нею, в глубокой нише, висели канаты колоколов. Что, если мы дадим по Лондону весть, которая привлечет к нам каждого, кто остался жив? Я подбежал к нише и, потянув обшитый мешковиной канат, с удивле-

нием убедился, как трудно раскачивать колокол. Ко мне подошел лорд Джон.

— Здо́рово, молодой человек! — сказал он, сбрасывая пальто. — Это вы чертовски хорошо придумали! Дайте-ка мне ухватиться тоже, и дело пойдет!

Но колокол был так тяжел, что только когда на канате повисли вместе с нами всем своим весом еще и Саммерли с Челленджером, мы наконец услышали над головой лязг и рев, возвестившие, что медный язык начал вызванивать свою музыку. Далеко разнесся над мертвым Лондоном благовест товарищества и надежды, взывая к живому человеку. Зычный голос металла ободрил наши сердца, и мы еще усердней взялись за дело, взлетая на два фута над полом при каждом взмахе каната и напрягаясь всем телом при обратном полете, причем ниже всех приседал Челленджер, который вкладывал в работу всю свою огромную силу и прыгал, точно гигантская лягушка, крякая на каждом подскоке. Вот какой момент было бы лучше всего избрать художнику, чтоб изобразить четырех товарищей, вместе переживших в прошлом много странных и опасных приключений, а ныне избранных судьбой для небывалого испытания! Полчаса мы

рьяно работали, пот градом катился по нашим лицам, руки и спины ныли от усталости. Потом мы вышли на паперть и жадно глядели в даль безмолвных запруженных улиц. Ни звука в ответ на наш набат, никакого движения!

— Без толку! Никого не осталось! — сказал я.

— Мы больше ничего не можем сделать, — вздохнула миссис Челленджер. — Ради Бога, Джордж, едем назад в Ротерфилд. Еще час в этом страшном, безмолвном городе, и я сойду с ума!

Не сказав ни слова, мы сели в машину, каждый на прежнее место. Лорд Джон повернул и взял курс на юг. Глава, нам казалось, окончена. Не думали мы, какую странную новую главу еще откроет перед нами жизнь!

Глава VI
Великое пробуждение

Итак, я подхожу к концу того необычайного события, которое своим значением затмевает все не только в наших маленьких жизнях, но и в общей истории человечества. Как я уже говорил, приступив к своему рассказу, в летописях истории это происшествие, несомненно, будет возвышаться среди всех прочих событий, как некая вершина над предгорьем. Нашему поколению предназначена совсем особенная судьба, раз ему выпало на долю пережить такое чудо. Научило ли оно людей смирению, и надолго ли, покажет будущее. Думаю, излишне говорить, что после подобного потрясения не может сохраниться на земле прежний порядок вещей. Человек не представляет себе, как он беспомощен и невежествен, пока незримая рука, державшая его на своей ладони, не сожмется и не сдавит его. Нам грозила неминуемая гибель. Сейчас мы знаем, что в любой час это может постичь нас вновь. Мрачная тень нависла над нашей жизнью, но кто посмеет отрицать, что под покровом этой

тени произошла некая переоценка ценностей, пересмотр жизненных целей: сознание долга, разумное понимание ответственности, глубокое стремление к совершенствованию окрепли в нас до такой степени, что всколыхнули общество во всех его слоях. Это лежит за пределами партийных или религиозных разграничений. Сдвиг произошел скорее в наших взглядах на будущее, в понимании относительной значимости вещей: мы живей осознали, что мы ничтожные, эфемерные создания и существуем, пока нас терпят, до первого порыва холодного ветра из Неведомого. Но не думаю, чтобы земля, умудренная этим знанием, стала более печальным местом, чем была она раньше. Мы все, бесспорно, согласимся, что ныне наши удовольствия, воздержанные и трезвые, доставляют нам более глубокую и разумную радость, чем та шумная, бессмысленная суета, какая нередко считалась развлечением в былые дни — дни столь еще недавние и уже непостижимые для нашего ума! Пустая жизнь, расточавшаяся в бесцельном хождении в гости или приеме гостей, в хлопотах по слишком большому дому с целым штатом ненужной прислуги, в приготовлении изысканных блюд и отсиживании на скучных обедах, — все это сейчас

уступило место здоровому, спокойному досугу, посвященному музыке, чтению, дружеской беседе в милом домашнем кругу. Больше здоровья, больше радости стало у людей, и от этого они стали против прежнего только богаче, несмотря на выплату повышенных сборов в общественный фонд, благодаря которому так поднялся общий жизненный уровень на наших островах.

Ученые не совсем согласно устанавливают момент великого пробуждения. Всеми признано, однако, что, помимо расхождения из-за неточности часов, действие яда могло зависеть и от местных условий. Но в пределах каждой отдельной местности жизнь воскресла практически одновременно. Есть много свидетельств, что в Лондоне Биг-Бэн[5] показывал в тот миг десять минут седьмого. Королевская обсерватория отметила двенадцать минут седьмого по Гринвичскому времени. С другой стороны, лорд Джонсон, очень дельный астроном, устанавливает моментом пробуждения для Норфолка и Суффолка двадцать минут седьмого. На Гебридских островах оно произошло только в семь часов. Относительно Ротерфилда всякий спор

[5] Сноски: 5
Часы на башне здания парламента.

исключается, поскольку я в это время сидел в кабинете Челленджера, имея перед глазами тщательно выверенный хронометр. Было ровно четверть седьмого.

Глубокое уныние овладело мною. Накопленные впечатления кошмарных зрелищ непомерной тяжестью легли на душу. Я от природы здоровый, крепкий человек, энергичный по самому своему телесному складу и редко когда поддаюсь помрачению духа. Я в избытке обладаю способностью ирландца в самой густой тьме различать проблески забавного. Но теперь мрак был невыносимо гнетущим, беспросветным. Остальные собрались все внизу и строили планы на будущее. Я сидел у открытого окна, подперев кулаком подбородок, и раздумывал о нашем горестном положении. Сможем ли мы жить дальше? Таков был вопрос, упорно встававший передо мной. Возможно ли существовать на мертвой Земле? Как по законам физики большее тело притягивает к себе меньшие тела, так будет и с нами: не почувствуем ли мы неодолимую силу притяжения к огромному телу человечества, отошедшему в Неведомое? И как придет конец? Снова ли нахлынет яд? Или из-за тлетворных продуктов всеобщего разложения Земля станет непригодна для жизни?

Или, наконец, ужас нашего положения лишит нас душевного равновесия и бросит в жертву безумию? Горсточка умалишенных на вымершей планете! Мысль моя остановилась на этой последней страшной картине, когда какой-то негромкий звук заставил меня поглядеть вниз. Старая извозчичья лошадь медленно тащилась в гору!

В тот же миг я уловил щебет птиц, услышал чей-то кашель во дворе под окном и общий звуковой фон движения по всей округе. И все-таки я помню, что именно лошадь, эта неказистая, тощая кляча, давно отжившая свой лошадиный век, приковала к себе мой взгляд. Медленно, с одышкой одолевала она подъем. Потом я перевел глаза на кучера, который, сгорбившись, сидел на облучке, и, наконец, на молодого человека, взволнованно высунувшегося в окно колымаги и кричавшего, куда ехать. Они все, несомненно, были живы — дерзко живы!

Ожили вновь, все и каждый! Неужели все пережитое было бредом? Возможно ли, чтобы история с отравленным поясом была причудливым сном? Одно мгновение мой потрясенный мозг был готов этому поверить. Потом я опустил глаза и увидел большой волдырь на ладони, натертый канатом

колокола в Сити. Значит, это было, было наяву. И все же мир воскресает, жизнь мгновенным мощным приливом возвращается на планету. Обводя глазами всю широкую панораму, я всюду видел движение, — и, что меня изумило, оно шло по той же колее, на которой накануне прервалось. Я посмотрел на любителей гольфа. Неужели они продолжают игру? Да, вот один игрок погнал мяч от столбика, и та вторая пара на зеленом поле, несомненно, рвется положить свой мяч в лузу. Жнецы не спеша возвращаются на работу. Нянька отшлепала старшего из своих питомцев и покатила коляску вверх по склону холма. Каждый, не раздумывая, подхватил нить с того самого места, где прежде ее обронил.

Я бросился вниз, но парадное оказалось раскрыто настежь, и я услышал со двора голоса моих товарищей, громко выражавших удивление и поздравлявших друг друга. Как мы все пожимали друг другу руки, как дружно смеялись! Как миссис Челленджер на радостях расцеловала сперва всех нас и только тогда бросилась в медвежьи объятия мужа!

— Но не может быть, чтобы они спали! — воскликнул лорд Джон. — Черт возьми, Челленджер, вы меня не убедите, что люди могут спать вот

так — окоченелые, с открытыми стеклянными глазами и этим страшным мертвым оскалом на лице!

— Это возможно только в том состоянии, которое называется каталепсией, — сказал Челленджер. — В прошлом это явление встречалось редко, и его каждый раз ошибочно принимали за смерть. При нем у человека понижается температура, исчезает дыхание, биение сердца становится неразличимо — в сущности, это и есть смерть, но только временная. Даже самый проницательный ум (тут он закрыл глаза и ухмыльнулся) едва ли мог предусмотреть такое всеобщее распространение каталепсии.

— Назовите это хоть так, — заметил Саммерли, — но вы только налепили ярлык, а по сути дела, мы так же мало знаем об этой каталепсии, как о том яде, который ее вызвал. Мы можем сказать лишь одно: отравленный эфир вызвал временную смерть.

Остин весь обмяк на подножке автомобиля. Это его кашель я слышал сверху. Он долго сидел молча, зажав виски в ладонях, а теперь бурчал про себя, оглядывая машину:

— Ах, пострел! Вечно напроказит!

— В чем дело, Остин?

— Натекло из масленки, сэр. Кто-то баловался с машиной. Верно, мальчишка садовника!

Лорд Джон стоял с виноватым видом.

— Не знаю, что со мной приключилось, — продолжал Остин. — Я вроде бы оступился, когда поливал машину из кишки. Помнится, я стукнулся лбом о подножку. Но, ей же Богу, со мной никогда не бывало, чтоб у меня текло из масленки!

Остину коротко рассказали, что случилось с ним самим и со всеми на Земле. Загадка с масленкой также была ему разъяснена. Он слушал с явным недоверием о том, как простой любитель управился с его машиной, и с жадным вниманием ловил каждое слово нашего скупого отчета о спящем Лондоне. Помню, когда мы кончили, он спросил:

— Вы были возле Английского банка, сэр, и даже не зашли?

— Не зашли, Остин.

— Когда там у них — денег миллионы, а люди все спали?

— Ну да.

— Эх, меня там не было! — вздохнул он и, отвернувшись, уныло взялся опять за шланг.

Вдруг послышался шелест колес по гравию

аллеи. Старая колымага подъехала наконец к Челленджеровскому подъезду. Я увидел, как выскочил из нее молодой седок. Минуту спустя появилась горничная с таким взъерошенным и растерянным видом, как будто ее только что разбудили от глубокого сна, и подала на подносе визитную карточку. Прочитав ее, Челленджер свирепо зафырчал и так взъярился, что его черная грива встала дыбом.

— Корреспондент! — взревел он. Потом добавил с улыбкой, как будто споря сам с собой — В конце концов, только естественно, что мир спешит узнать мое мнение по поводу такого события.

— Едва ли в этом заключалась его миссия, — возразил Саммерли. — Ведь он ехал сюда со станции, когда катастрофа еще не наступила.

Я взглянул на карточку и прочел: «Джеймс Бек-стер, лондонский корреспондент газеты „Нью-йоркский обозреватель“».

— Вы его примете? — спросил я.

— Ни за что!

— Ах, Джордж! Ты бы должен стать добрей и внимательней к людям. Неужели ты ничему не научился после всего, что мы испытали?

Челленджер досадливо прищелкнул языком и затряс своей большой упрямой головой.

— Зловредное племя! Правда, Мелоун? Самый скверный плевел современной цивилизации! Орудие шарлатанства и помеха для уважающих себя людей! Когда они сказали обо мне хоть одно доброе слово?

— А они когда-нибудь слышали от вас хоть одно доброе слово? — возразил я. — Подумайте, сэр, ведь перед вами иностранец, он проделал длинный путь, чтобы увидеть вас. Вы, конечно, не будете с ним чересчур суровы.

— Хорошо, хорошо! — пробурчал Челленджер. — Пойдемте со мной, вы поможете мне вести разговор. Но предупреждаю: впредь я не потерплю подобных вторжений в мой дом!

Ворча и фыркая, он пошел за мной вперевалку, точно огромный сердитый пес.

Бойкий молодой американец вынул из кармана блокнот и сразу приступил к делу.

— Я приехал, сэр, — заявил он, — потому что у нас в Америке публика жаждет услышать побольше о той опасности, которая угрожает Земле.

— Я ничего не знаю ни о какой опасности, которая в настоящее время угрожала бы Земле, — зло пробурчал Челленджер.

Корреспондент посмотрел на него с некоторым

удивлением.

— Я, сэр, имею в виду ту возможность, что мир вступает в зону ядовитого эфира.

— В настоящее время я не предвижу подобной опасности, — сказал Челленджер.

Корреспондент и вовсе растерялся.

— Ведь вы профессор Челленджер? — спросил он.

— Да, сэр. Меня зовут именно так.

— В таком случае я не понимаю, как вы можете говорить, что опасности нет. А как же тогда с письмом, опубликованным сегодня утром за вашей подписью в лондонском «Таймсе»?

Пришла очередь Челленджеру сделать большие глаза.

— Сегодня утром? — переспросил он. — Сегодня утром «Таймс» не выходил.

— Позвольте, сэр, — с мягким упреком возразил американец, — вы не будете спорить, что лондонский «Таймс» — газета ежедневная. — Он извлек из внутреннего кармана помятый экземпляр. — Вот это письмо, я о нем и говорю.

Челленджер захихикал, потирая руки.

— Начинаю понимать! — сказал он. — Вы только сегодня утром прочли мое письмо?

— Да, сэр.

— И сразу поехали меня интервьюировать?

— Да, сэр.

— Вы не заметили в дороге ничего необычайного?

— Сказать по правде, ваши соотечественники показались мне живей и, в общем, человечней, чем я их знал до сих пор. Носильщик стал рассказывать мне какую-то смешную историю — мне это показалось новым для вашей страны.

— Больше ничего?

— Нет, сэр, больше я как будто ничего не могу припомнить.

— Так! А в котором часу вы выехали из Лондона?

Американец улыбнулся.

— Я сюда приехал интервьюировать вас, профессор, но дело, кажется, обернулось по поговорке: «Кто кого выудил — негр рыбу или рыба негра?» Вы беретесь за мою работу.

— Случилось так, что мне хочется это знать. Вы не помните, в котором часу отходил ваш поезд?

— Помню. В половине первого.

— А когда пришел?

— В четверть третьего.

— Вы взяли кэб?

— Разумеется.

— Как вы думаете, сколько отсюда до станции?

— Я кладу мили полторы, не меньше.

— Сколько же времени заняла, по-вашему, езда?

— Пожалуй, все полчаса — на этой кляче.

— Значит, сейчас должно быть три часа?

— Да, часа три или начало четвертого.

— Сверьтесь по вашим часам.

Американец последовал совету и выкатил глаза.

— Что за чушь! — воскликнул он. — Часы остановились, вышел весь завод. Эта кляча побила все рекорды! Да и солнце, как я погляжу, стоит совсем низко. Н-да… Тут что-то непонятное.

— Вы не помните, не случилось ли чего особенного, пока вы ехали в гору?

— Помнится, на меня вдруг нашла страшная сонливость. Я как будто хотел сказать что-то кучеру, но он почему-то не стал меня слушать. У меня на минутку закружилась голова — наверно, от жары.

— Так и со всем человечеством, — обратился Челленджер ко мне. — Все они почувствовали только минутное головокружение. Никто понятия не имеет о том, что произошло. Каждый сразу

возвращается к прерванному делу, как Остин схватился за шланг и как те игроки опять погнали мячи. Ваш редактор, Мелоун, станет дальше подготовлять выпуск, и до чего же он удивится, когда увидит, что пропустил положенный срок! Да, мой юный друг, — повернулся он к американскому корреспонденту; на него вдруг нашло благодушие. — Вам, может быть, интересно будет узнать, что Земля благополучно пересекла ядовитое течение, которое бурлит в эфирном океане, подобно Гольфстриму в Атлантике. А чтобы в будущем избежать недоразумений, примите, пожалуйста, к сведению, что сегодня не двадцать седьмое августа, а двадцать восьмое, не пятница, а суббота и что вы двадцать восемь часов просидели без чувств в вашем кэбе на Ротерфилдском холме.

На этом я и закончу свой рассказ. Он представляет собой, как вы, вероятно, заметили, лишь более полную и подробную версию моего же отчета, появившегося в понедельник в утреннем выпуске «Дейли-газетт», — отчета, который повсеместно признан рекордом сенсации за все время существования газет; благодаря ему номер разошелся не более и не менее, как в трех с половиной миллионах экземпляров! Я вырезал

великолепный анонс и повесил его в рамке у себя в редакторском кабинете. Он гласит:

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВСЕМИРНОЙ КОМЫ
НЕБЫВАЛОЕ ИСПЫТАНИЕ
ЧЕЛЛЕНДЖЕР ОКАЗАЛСЯ ПРАВ
КАК СПАССЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА
КИСЛОРОДНАЯ КОМНАТА
СЕМЬ КРУГОВ АДА НА АВТОМОБИЛЕ
МЕРТВЫЙ ЛОНДОН
УТРАЧЕННАЯ СТРАНИЦА ВОССТАНОВЛЕНА
ГРАНДИОЗНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕИСЧИСЛИМЫЕ ЖЕРТВЫ
ЖДАТЬ ЛИ ВОЗВРАТА?

Под этими блистательными строками шел рассказ на девять с половиной столбцов — первый, последний и единственный газетный отчет об истории мира на протяжении одного земного дня, как мог ее зарисовать один наблюдатель. Челленджер и Саммерли написали на ту же тему совместную научную статью, но только мне выпало на долю дать общедоступный обзор. Теперь

я могу спокойно умереть. После подъема на такую вершину чего еще может ждать от жизни журналист?

Однако совесть не позволяет мне закончить книгу этим сенсационным анонсом и моим личным триумфом. Лучше я приведу здесь ту выразительную страницу, которой наша крупнейшая газета заключает свою превосходную передовую статью на эту тему — статью, достойную того, чтобы на ней остановил свое внимание каждый мыслящий человек.

> «До сих пор считалось общим местом, – пишет „Таймс“, – что человечество – это жалкое племя пигмеев перед бесконечными таинственными силами, окружающими нас. От древних пророков и от современных мыслителей доходило до нас это предостережение. Но, как все слишком часто повторяемые истины, оно с течением времени утратило свою убедительность. Чтобы истина получила признание, требуется суровый урок, проверка на собственном опыте. Таким уроком послужило нам то благотворное, хотя и страшное испытание, через которое мы

только что прошли. Мы все еще ошеломлены внезапным ударом, и наши души в трепете перед уничижительным сознанием нашей ограниченности и бессилия. Мир тяжелой ценой заплатил за урок. Мы еще не можем судить о постигшем нас бедствии во всей его полноте, но разве мало того, что нам уже известно? Если уничтожены пожаром Нью-Йорк, Орлеан, Брайтон, то разве мы не вправе говорить об одной из величайших трагедий в истории человечества? Когда будет подведен итог катастрофам на железных дорогах и на море, он представит жуткую страницу, хотя из поступающих к нам сведений выясняется, что в большинстве случаев машинисты на поездах и пароходах успели застопорить машины, прежде чем поддались воздействию яда. Однако, как ни огромны человеческие жертвы и материальный ущерб, их подсчет не должен сегодня всецело поглощать нашу мысль. Со временем мы их забудем. Но что никогда не забудется, что и впредь постоянно и по праву будет занимать наше воображение, – это раскрывшие-

ся перед нами возможности вселенной, крушение нашей самонадеянности, полученное нами доказательство тому, как узка тропа нашего материального существования и какие бездны зияют по обе ее стороны! Чувства наши сегодня проникнуты глубоким смирением. И, может быть, на этой основе человечество, став мудрей и скромней, воздвигнет теперь новый, более достойный храм».